



Кирилл Берендеев

Неизвестная война

повести и рассказы

Кирилл Берендеев

**Неизвестная война.
Повести и рассказы**

«Издательские решения»

Берендеев К.

Неизвестная война. Повести и рассказы / К. Берендеев —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-853270-2

Сборник произведений о Второй мировой. Размышления автора о событиях, приведших к этой страшной войне, и истории противостояния, не закончившегося даже в последующие, после весны сорок пятого, десятилетия.

ISBN 978-5-44-853270-2

© Берендеев К.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие автора	6
Дом на Кайзерштрассе	9
В темноте	24
Зверь	32
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Неизвестная война Повести и рассказы

Кирилл Берендеев

Корректор Виталий Слюсарь

Корректор Светлана Тулина

Фотограф Ежи Томашевский

© Кирилл Берендеев, 2017

© Ежи Томашевский, фотографии, 2017

ISBN 978-5-4485-3270-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие автора



Ежи Томашевский «Юные бойцы батальона „Метла“»

Наверное, так сложилась судьба или повернулись звезды, но пройти в своем творчестве мимо Второй мировой, тем паче, Великой отечественной, я никак не мог. Это у нас занозой в семье: мои самые близкие или воевали или отец работали в тылу. Бабушка организовывала оборону ткацкой фабрики, на которой работала, две ее дочери, в том числе, моя мама, ежевечерне забираясь на крышу, тушили падавшие как дождь, зажигалки. Папу в четырнадцать забрали на лесозаготовки в Подмоскowie, дав взрослую норму в три куба в день...

Мне мало рассказывали о войне в детстве, наверное, не хотели беречь старые, незаживающие раны. Я всегда переспрашивал, ведь война же, даже не потому, что я был мальчиком, нет, дело в другом. Возможно, именно в этих недоговорках, оставлявших место множеству вопросов: что это было, как случилось, почему, зачем? Отчего бились так долго и столь кроваво, почему вообще допустили врага, сперва до Москвы, а потом до Сталинграда, и только на третий год неистового противостояния смогли переломить ход нескончаемой битвы.

Но с течением времени та война для меня, ребенка, отрока, отошла на второй план, вернувшись уже много позже. Когда из родных не осталось почти никого. Я не хотел делать сборник, я вообще не думал о каком бы то ни было цикле текстов, когда писал свой первый рассказ из получившегося цикла – «В темноте». Просто увидел однажды сон о взятии войсками РККА Вильно, нынешнего Вильнюса. Сон оказался почти вещим, я долго копался в архивах – в седьмом было проще сидеть за документами реально, а не в виртуальном пространстве всемирной паутины, тогда сведений в сети было еще слишком мало. Копался, куда не вывел сюжет рассказа.

И снова долгое молчание, прорывавшееся вставками то в один роман, то в другую повесть. Война бредила душу, прорываясь то здесь, то там – оговорками, воспоминаниями – близких и далеких, которых я когда-то выпрашивал, рассказы которых хранил и берег полжизни. А потом в прошлом, шестнадцатом году... честно признаюсь, я не могу сказать с уверенностью, почему именно тогда захотелось писать о войне, думать о ней, размышлять, пытаться понять – вот так вдруг, ни с того, ни с чего. Я вроде бы только закончил цикл фэнтезийных повестей, отдыхал, ничего не собираясь предпринимать в ближайшее время. И вдруг накатило. Что послужило детонатором, трудно сказать. Может, фильм Анджея Вайды «Каналы», может, какой-то другой, может, что-то прочитанное, где-то увиденное, услышанное, наконец. Ведь, как я понял, когда засел за рассказ «Гостиница Катарини Кес-

сель», это не случайность, не просто так. Это закономерность, к которой рано или поздно, но должен прийти. И писать – о зарождении фашизма, о противоборстве ему в самой Германии и за ее пределами. О преследовании нацистов. О силе веры, и хрусте сломанных идеалов. О прощении и невозможности простить.

И наконец, о чем я думал, что я пытался написать еще в те годы, в середине нулевых. О начале Великой отечественной. Загадке, мучившей меня с детства. Как, почему это случилось, кто и что стали причиной столь ужасающих последствий, откуда столько сдавшихся, столько желающих переменить одну безумную власть, на власть другого безумия. И еще сотня подобных.

Я долго, старательно, искал ответ. Нет, многие могут его сформулировать легко, он записан в учебниках истории, ему отведены страницы текста в «Википедии», его разъясняют в сотнях монографий по всему миру. Но мне требовалось собственное понимание, свой ответ на вопрос. Тогда в середине нулевых, я его не нашел. Сумел выискать только сейчас, в конце шестнадцатого – начале семнадцатого, когда снова, с головой ухнул в архивные файлы, вороша и перелистывая страницы приказов, распоряжений, донесений и отчетов с самого конца сорокового, по самый конец сорок первого годов. Адский труд, но и написание вышло не лучшим. Никогда прежде я не мучился так над текстом, никогда не пытался избыть его, отставить хотя бы на день, передохнуть и отойти от него на немного, всего на шаг. Не получалось. Сюжет захватил в плен и не оставлял в покое ни на минуту, ни днем ни ночью; я буквально сходил с ума, пытаясь избавиться от его тисков, но выходило это лишь, когда я писал повесть «Зверь». Я не писал ее, но боролся с ней – мучительно, беспощадно и невероятно скоро – как казалось бы снаружи. Но как же долго выписывал изнутри себя! Ее, не отпускавшую, вгрызшуюся в самое нутро. По четверти авторского листа строчил я в день, в несколько приемов, пытаясь утишить безумства зверя и не в силах побороть их. Я видел все сцены заранее, до самой последней, я перелистывал их в голове сотни, тысячи раз, но как же далеки они были, эти последние. И порой, не в силах дописать, мучился не только от боли в пальцах. Терзался той болью, что эхом жила во мне, не отпускала с рождения, да, наверное, никогда уже не отпустит, сколько бы я ни пытался излить ее на бумагу.

Даже после окончания понадобилось еще две недели, если не больше, чтоб отойти от «Зверя». И еще столько же, чтоб посмотреть на него немного иначе, свободнее, спокойнее, чтоб снова взяться за повесть и начать вычитку. А после выбрать название.

Соглашусь, оно несколько странное. Многим знакомое – по одноименному сериалу с Бертом Ланкастером в роли ведущего. Я сознательно поставил акцент именно на подобное узнавание. А еще на то, что и для меня самого эта война все еще остается во многом терра инкогнита. Как и для большинства тех, кто родился много после ее окончания. Поступки героев странны, их мораль непонятна, их мысли приходится дешифровать, объясняя через призму истекших лет – так, будто жили они не менее века назад, а минимум, за тысячу лет до нас. Все переменялось, даже язык, манеры общения, воспитания. Мы смотрим на тех, кто сражался, воистину, как на представителей давно исчезнувшей цивилизации, и, отчасти, это правда. Мы пытаемся разобраться в их делах, поступках, переживаниях и достижениях с помощью своего багажа познаний, но как же далеки оказываемся при этом от осознания подлинной сути происходящего восемьдесят лет назад.

Но во время писания «Гостиницы Катарины Кессель» в конце шестнадцатого, я стал неожиданно замечать переключку времен, казалось, совершенно утерянную. Находил параллели, знакомые смыслы, вопросы, которыми задавались мои герои, и на которые искал ответ я сегодняшний. Надеюсь, эта неожиданная переключка будет отмечена и вами, мой читатель.

И еще одно. В «Звере» мне захотелось проделать еще один значимый эксперимент. Практически во всех произведениях о Великой отечественной, написанных по ее окончании, волей-неволей, прихотью автора или цензуры, проскальзывала неизбежная мысль о неско-

рой, но неременной победе над фашизмом. Но разве можно задаться подобным вопросом, когда враг у ворот, когда он захватывает по пятьдесят километров в день родной земли, когда в первые же дни войны пали Вильнюс, Рига, Львов, когда огромные танковые соединения Красной Армии были разгромлены в первой же битве, когда число погибших в боях исчислялось уже сотнями тысяч, а сдавшихся в плен – миллионами? Когда уклонение от мобилизации носило столь массовый характер, что ни милиция, ни внутренние войска – никто не мог совладать с бежавшими, куда угодно отказниками? Я сильно сомневаюсь в этом.

Именно с такой позиции и была написана повесть. Которую я отдал в руки друзей и знакомых, дабы понять, что выжал из себя с этой немыслимой, всепоглощающей мукой, преследовавшей во время написания «Зверя»?

Ответ на этот вопрос придется искать вам, читатель, в сборнике, созданном за десять лет и менее, чем за год. В адовых страданиях и с необычайной легкостью. Очень долго и невероятно быстро. Я попытался разрешить хотя бы часть вопросов, что задавал себе столь долгое время. Вам решать, насколько полезен оказался мой труд.

С искренним уважением, Кирилл Берендеев.

Дом на Кайзерштрассе



Неизвестный автор «Жители города Хеб салютуют немецким войскам, занявшим Судеты»

От конечной трамвая он шел, насвистывая «Рио-Риту». Улица темнела предзакатными сумерками, быстро наползавшими на город. Редкие прохожие спешили укрыться по домам, фонари светили не так ярко, как в центре, сразу видно, окраина города, пускай и столицы. Он свернул на Кайзерштрассе, его шаги по булыжнику негромким эхом отдавались меж обступившими двух – трехэтажными домиками. Песенка кончилась, он принялся насвистывать заново старый мотивчик, ноги сами понеслись в пляс. Левая нога подводила, подволакиваясь в самые неподходящие моменты, да он и не умел танцевать. Разве что танго, которому когда-то выучила его Чарли. Давно, еще до его отъезда в Австрию. Сколько ж лет прошло с той поры. Всего шесть? Он даже удивился, кажется, целая жизнь. Через месяц после поджога Рейхстага ему стукнуло двадцать четыре, а ей все еще оставалось, как говорила сама Шарлотта, только двадцать два.

Мотивчик не выходил из головы, даже когда он поднялся на крыльцо и сперва позвонил в дверь, а затем и постучал, вспомнив про условный сигнал. И только услышав шаги, немного успокоился и утишил «Рио-Риту». Дверь открылась.

– Чарли, – он поцеловал девушку в обе щеки, – как я рад тебя видеть. – Прошел в прихожую, оттуда, сняв плащ, в гостиную. Навстречу вышла вся их компания, – Гретхен, Клаус, Алекс, вы уже собрались?

– Да, ко всеобщему удивлению, запоздал только ты, – только сейчас он услышал, как в патефоне, стоявшем у окна, играет марш «Старые товарищи», заметно шипя и потрескивая: новая игла царапала старый шеллак. Хор восторженно напевал, да пластинка подводила. Пару раз певцы повторяли одни и те же фразы под удары барабанов и побряхтывание духовых. Клаус и Грета пытались танцевать, сбились как раз, когда вошел Роман.

Кройцигер огляделся. Все как и прежде, как и три месяца назад, когда он последний раз был у Шарлотты. Неизменные фикусы на подоконниках, душистая герань против моли на бюро, книжные шкафы с манускриптами, оставшимися от дедушки, сервант и горка с довоенным саксонским фарфором. Куда-то задевалась «наследство», как выражалась Чарли, – две головы работы Франца Мессершмидта. Выражавшие полную идиотию и стремление к ней. Обычно головы стояли на входе в гостиную, словно, приветствуя гостей. Своеобразные слуги молодой хозяйки.

– Друзья, прошу прощения, я планировал прибыть еще вчера, но.... Приятная неожиданность задержала. Я обо всем договорился. Это так необычно, мы думали, на подготовку

уйдет уйма времени, но вот – все готово. Почти все. А вы, я смотрю, в полной конспирации? – неожиданно Роман переключился на танцевавших.

Александр улыбнулся, кивнул с охотой.

– У меня была идея поставить что посовременнее, хоть фокстрот, но Чарли отказалась. Мы же подполье, – новая жизнерадостная улыбка. Странно, подумалось Кройцигеру, с чего им сегодня так весело. Может, годовщина, а он не в курсе? Или еще что-то важное для кого-то из них. Но ведь они договорились, еще два года назад, когда их кружок только собирался – молчать обо всем, что могло бы вывести полицию на других. Расширять круг только за счет знакомых и не втягивать родных и близких. Лучше знать совсем мало, но самое важное. А вот потом, когда и если все получится... Наверное, потом все будет иначе. – И танцевали как истинное подполье. Так что у тебя?

– Сама идея близка к осуществлению, ведь остался месяц до шестого мая. Тысяча двадцать лет восшествия на престол Генриха Птицелова, первого короля германцев. Весь Рейх в едином порыве намерен отметить эту дату. Конечно, власть будет присутствовать на мероприятиях, о нашем Адольфе не сообщают, но это и понятно, в газетах только о реинкарнации короля — Генрихе Гиммлере, но очевидно, что верховодить на празднике будет не он. В тридцать шестом он и так уже наобъявлял себя предостаточно, думаю, фюрер теперь поставит его на место, – Роман улыбнулся. Марш отзвучал, бухнули в последний раз барабаны, ударили литавры, и все умолкло.

Чарли сняла пластинку с патефона.

– Ты действительно быстро договорился. Мы как-то... я вот думала, нас опять ждет очередная задержка или неудача. Сколько уже их было.

– Да я тоже сомневался, но нашей уверенностью заинтересовались на набережной Принца Альберта, так что дело стронулось с мертвой точки и теперь набирает обороты. Все необходимое нам предоставят. Да, через неделю в Берлин прибудет агент МИ-6, вот через него и пойдет согласование, финансирование и оборудование. Фамилию я пока сообщить не могу, но гарантирую...

– Подожди, Роман, – это уже Клаус. – Ты не слишком ли заспешил с британской агентурой?

– А что такое? – удивленно повернулся к нему Кройцигер. Тот смутился, вдруг враз запунцовев. Самый молодой из их группы, на полгода моложе Шарлотты, он и присоединился последним.

– Мне казалось, у нас это личное и кроме того, Британия никогда не казалась мне надежным союзником.

– Клаус, ты что-то не договариваешь.

– Да, верно, – молодой человек перевел дыхание. Наконец, решился. – Простите, друзья, я... видимо, не смогу участвовать в этом. Дело в том, что я... мы ведь никогда об этом не говорили... – неожиданно голос его кардинально изменился, совсем иначе он закончил. – Я поверил фюреру, понял, насколько важен он для меня, для нас, для всего народа. Я не могу теперь даже подумать о покушении. И не могу позволить моим друзьям совершить подобное, – голос снова сломался. Кюнц закончил немного растерянно: – Мне очень стыдно, что не посмел сказать раньше, я правда, не решался, не знал, как такое вообще сказать. И долго подбирал слова и...

Он замолчал окончательно. В гостиной установилась липкая, неприятная тишина. Собравшиеся переводили взгляды со стоявшего в углу у серванта Клауса на замершего у входа Романа и обратно. Пока Кройцигер не произнес:

– Так что ты намереваешься сделать? – тон его был неприятен, Роман шагнул к Клаусу, вмиг оказавшись подле него. Кюнц замотал головой.

– Я... ничего. Клянусь, я не предаю вас, не сообщу полиции порядка или СС, я не посмею нарушить нашу клятву. Но я и не могу допустить, чтобы с фюрером что-то случилось. С кем угодно, но только не с ним.

Он будто предлагал сделку – новый выход из ситуации. Кройцигер внимательно глянул на него.

– Нам что теперь, убить Гиммлера?

– Кого угодно, – прошептал Клаус едва слышно. Роман придвинулся еще ближе, но тут вмешалась Шарлотта.

– Мальчики, давайте потише. Мы не на свидании. Клаус, объясни, что на тебя вдруг нашло.

– Да, и когда это вдруг, – тут же вставил Роман.

– А я пока чай согрею, – вдруг произнесла молчавшая Грета. И неожиданно быстро скрылась в кухне. Клаус проводил ее взглядом. Александр попытался остановить.

– Постой, ты, может, выслушаешь его?

– Не сейчас, чай стынет, – донеслось из кухни. Взгляды мужчин перенеслись на Шарлотту, та пожала плечами.

– Она сегодня целый день такая. Себе на уме, – произнесла девушка, ни на кого не глядя, но по-прежнему загораживая Клауса. Может, они успели сойтись за последнее время, вдруг пришло в голову Романа неожиданная мысль. Впрочем, он же не должен знать, он и так ничего толком не знает, ни о Клаусе, ни даже о Чарли, кроме самых очевидных данных. Чарли живет одна, они, когда решились на операцию, три года назад, решили отрезать себя от всех остальных. Все подыскивали съемное жилье в тихих районах, подальше от центра. Дом на Кайзерштрассе сдавался совсем за недорого, вот Шарлотта и решила устроить тут сперва место для тайных встреч молодых людей, недовольных режимом, но потом все как-то очень быстро переросло в действительно важное решение. Выследить, подстеречь и уничтожить фюрера. Сама мысль назревала давно, у Романа, наверное, еще с момента бегства в Австрию, нет, раньше, много раньше. И не надо лгать хотя бы себе. Он уехал в Зальцбург, чтобы спасти Чарли, чтоб в случае его ареста, не вышли б на нее, как на близкую знакомую. И еще, верно, чтобы хотя бы постараться забыть обо всем, что между ними так и не случилось. Тогда ему казалось, это будет лучшим выходом. Ведь, после арестов предполагаемых поджигателей, стали хватать всех сочувствующих Тельману, всех, в ком видели врагов обновленной отчизны: социалистов, коммунистов, пацифистов... Кройцигер как раз социалист и сочувствующий.

А еще Роман влюбился в Шарлотту, в том самом тридцать третьем. И очень не хотелось поверить, что та осталась к нему равнодушна, ко всем его притязаниям. Вернее, она по-прежнему видела в нем верного друга, она сама готова была на все, – на все, кроме замужества.

В те месяцы они были молоды и одиноки, сами за себя и по себе. После арестов, ему показалось, она может и любит его, но тайно, не раскрываясь Роману, чтоб тот не совершил какую глупость, не остался. И потому именно спешила оттолкнуть, обезопасив. Через месяц он улетел в Вену, переехал в Зальцбург, Шарлотта осталась ждать. Оба надеялись, что все это ненадолго, что на выборах НСДАП снова проиграет, что президент больше не даст Гитлеру паясничать, призывая народ к безумствам, снимет его и назначит другого. Письмами они начали обмениваться только, когда ему удалось получить новые документы. Переписывались часто, каждые две недели. Чарли писала немного, старалась не затрагивать болезненные темы. Но Зальцбург не деревня, он все узнавал по радио, из газет. Да и в Австрии происходило ровно тоже, только с небольшим запозданием. О делах сердечных подруги ему приходилось только догадываться.

– Да, конечно, – пролепетал Клаус, немного приходя в себя. Странно, что Чарли так за него, снова подумалось Кройцигеру, сама мысль, что у них могут быть отношения, кольнула больно, даже не в силу особого отношения к Шарлотте, но больше из-за Кюнца – настолько не виделся он Роману ни любовником, ни мужем кого бы то ни было. Просто хороший знакомый.

При этой мысли снова возник образ Чарли, провожавшей его в Темпельхоф. В последние минуты перед выходом из дому, у них снова состоялся тот же разговор, что и пару недель назад, когда он пытался открыться девушке. Шарлотта мило обняла его, прижала к себе, попросила беречь, ради нее, конечно, и... поцеловала в лоб, похлопав по спине. Словно младшего брата. Верно, она так же успокаивала бы Клауса. Так и успокаивала, было дело, когда тот принес на одну из встреч найденный в университетской библиотеке рецепт создания домашнего аммонала. Шарлотта и Грета занялись производством, потом выяснилось, что взрывная сила состава невелика, а производство на редкость опасно. Александр, он сразу стал руководителем кружка, немедленно запретил им заниматься взрывчаткой. Они сосредоточатся на выстреле, он же охотник. Он сможет.

Кюнц помолчал еще чуть, подождал, когда от него отойдут. Попросил сесть, ему не перечили, все трое расселись за широким круглым столом – артуровским, как его называла Чарли. Клаус хотел тоже присесть, но потом передумал.

– Я историк, поэтому сразу прошу прощения, что начну издалека. Так и мне проще рассказать и вам понять меня. Наверное, понять, если сможете. Я не претендую, но... мне хотелось бы. Простите, что снова отвлекаюсь.

– Не волнуйся, Клаус, мы тебя внимательно слушаем, – заверила его Шарлотта. Он охотно кивнул, попытавшись улыбнуться. Роман покачал головой, нет, свое сердце Чарли бережет, это очевидно даже сидевшему против нее Александру, с нордическим хладнокровием наблюдавшего за беспокойным товарищем. На душе стало немного спокойнее.

– Мне всегда была интересна история Германии Средних веков. Я еще когда, школьником, брал у Чарли монографии об Оттоне, Фридрихе Барбароссе, Генрихе Святом... о многих наших первых государях, – Роман поглядел на Шарлотту, но та не проронила ни слова. Не повернула головы к шкафам. – Потому, после школы, я и пошел на исторический факультет и четыре года не вылезал из архивов. Получив диплом, вдруг неожиданно, хотя нет, не совсем неожиданно, заработал приглашение к самому профессору Роберту Хольцману – он отбирал самых способных и усидчивых студентов для работы над книгой об истории Саксонской империи. Как я мог отказаться от такого предложения? Герр Хольцман выделил мне период царствования Генриха Птицелова. Вы знаете, что противник нашего почитаемого государя, герцог Баварии Арнульф Злой, единственный, кто использовал термин «Королевство Германия», в то время как Генрих...

– Ты отвлекаешься, Клаус, – мягко напомнила Чарли.

– Да, простите. Просто, я все еще весь в материале. Книга, верно, выйдет не раньше, чем через два-три года. Профессор только сейчас активно принялся за работу над ней, – Кюнц помолчал, потом начал с новой строки, даже с новой главы: – В годы работы над летописями, я не мог оставаться затворником, да и вы бы мне не дали этого. Прежде, в университете, в разговорах с вами, мне казались простыми и очевидными те вещи, что обсуждались здесь, в доме на Кайзерштрассе. Но постепенно я стал смотреть на вещи иначе. Генрих Птицелов тому виной, – он виновато улыбнулся. – Не совсем он, но... – И снова с красной строки. – Вы ведь учили историю. Германские народы объединялись за две тысячи лет своего существования всего несколько раз, и последний случился очень давно, во времена становления Священной Римской империи. И то потому только, что им, нам всем, угрожала опасность. Так случилось во времена Рима, когда наши предки разбили легионы Октавиана Августа в Тевтобургском лесу, тоже произошло во время славянского а затем и вен-

герского нашествия, продолжавшихся без малого четыре века. Ведь германцев полабские веныды поначалу загнали за Эльбу. И только стараниями Оттона нам удалось восстановить былые рубежи. А после двинуться дальше, на восток, в едином порыве...

– Как сейчас? – лениво спросил Александр, искоса поглядывая на Кюнца. Впрочем, он так смотрел на молодого человека всегда, старший в группе, хороший знакомый Шарлотты, отличный охотник на вальдшнепов, поневоле именно так будет глядеть на юного академика.

– Можно сказать. Параллелей невольно находится очень много.

– То есть ты сейчас признал захват Чехии жизненной необходимостью Рейха, – констатировал Фрайтаг.

– Я скажу больше... но позволь подойти к этому. Во все иные времена германцы были разобщены и разбросаны – в пределах одной империи, но по разным герцогствам, королевствам, княжествам. Мы не имели пристанища не годы или десятилетия – века. Все века, с рождения самой нации. Мы объединялись лишь для того, чтобы провозгласить нового доброго правителя, чтобы тот нашими силами изгнав очередного поработителя, снова разобщил нас, разрезав Германию меж своими сыновьями. Как это началось с Карла Великого. Как это продолжалось и длилось до... да до самой Веймарской республики. Вы ведь читали Гете? – вдруг спросил он. – Конечно, читали, что я. У Чарли прекрасная библиотека. Этот гений словесности, писал, что не видит ни в настоящем, ни в будущем места для Германии, что немцам следует быть в рассеянии, подобно иудеям, что их надо расселить по всей планете. Лишь тогда они обретут истинную свою сущность. Ибо невозможно немцам иметь своего дома, иначе все вернется на круги своя – и правители-предатели и их жадные сыны и разобщенность и раздробленность. И конечно, ненависть всей Европы, всего мира. Мы всегда были слабы, а когда – раз в тысячу лет – объединялись, нас провозглашали племенем убийц и вырожденками. Как звучит Германия на языке ее соседей? Для французов, испанцев, португальцев мы просто земля чужаков, всяких чужаков, а для славян мы страна немых. Характерно, да? Сколь же часто наши западные соседи решали, как жить этим всяким в центре Европы, и как часто восточные пытались покорить немую страну. Кто только ни топтал наши земли. Даже сейчас, вот совсем недавно, с запада у нас отобрали Эльзас, Лотарингию, Рейнскую область, а что не вошло, провозгласили свободным государством, с востока Померанию, Силезию, Мемель... мне продолжать?

– Не стоит, – ответил Александр. – Ты и так убедителен. И очень долго не подойдешь к главному.

– Я уже в нем, – напрягшись, произнес Клаус. – Все последние годы нас пытались содержать как военнопленных, всю страну. Нам давали деньги, под залог наших земель, у нас конфисковали армию и флот, нас давили выплатами, нам устраивали революции и перевороты. Боевики «Рот-Фронта» устраивали побоища в городах, пытаясь захватить власть то там, то здесь. Почему им это удавалось? Ведь это все на нашей памяти происходило. Вы же помните, как оно было – в Баварии, в Тюрингии... Молчите? Не надо напоминать, как мы тогда жили, всего-то десять-пятнадцать лет назад. На пособия, на которые можно было купить только мыло и веревку. Ваши родители бедствовали, даже имея по две работы, в начале двадцатых я спасался только тем, что чистил обувь возле «Ритца». Как же меня били тогда другие, которым не повезло вылизать обувь американского промышленника или английского банкира. Ведь подавали-то не марками, а звонкой монетой, имевшей вес во всех уголках мира. Все мы хранили сбережения, если они имелись, в фунтах или долларах. Правительств менялись с пулеметной частотой. А теперь я подойду к тому, с чего, по-вашему, должен был начать. Сама Веймарская республика была мертворожденной по одной причине: диктат одной провинции над другими, той, самой ненавистной, среди прочих, самой богатой золотом ее дворян и самой нищей ее крестьянами. Подумать только, веками Пруссия считалась житницей Германии, а тут мы из последних сил кормили ее голодающих. И при этом

голосов у прусских партий в парламенте всегда было столько, чтоб заблокировать любой законопроект, направленный против интересов их дворянства. Что вы так на меня смотрите, я ведь родом из Пруссии.

– Хочу напомнить, ты хоть и бастард, но все равно должен носить титульную приставку к фамилии. А твой брат... – Александру закончить не дали. Роман не выдержал:

– Твой брат с тридцать шестого в Заксенхаузене. Ты хоть раз общался с ним? Как он, что он? Ведь тюрьма от Берлина всего в тридцати километрах.

– А для меня, как на луне, – резко ответил Клаус. – И потом, с чего ты так обеспокоился? Ведь ты же поддерживал референдум компартии по экспроприации дворянских ценностей. Это должно было и Пауля коснуться

– Речь не о деньгах, а о человеке. Ты вообще виделся с ним?

– Свиданий у нас было два или три. Но Пауль фон Кюнц не хочет меня видеть так же, как я его. Он бросил нас подыхать в Берлине в начале двадцатых, а сам уехал в Кенигсберг, получил земли, заручившись поддержкой соратников фон Палена... неважно. Отец умер от чахотки... тоже не суть. Ненавижу его.

Воцарилось неловкое молчание, которое никто не смел нарушить. Александр поднялся, похлопал Клауса по плечу, как-то не слишком уверенно, что-то шепнул на ухо. Тот кивнул в ответ. Наконец, произнес:

– Я рад, что наконец все закончилось. Что Германия не просто стала снова государством, но наконец-то обрушила свои сословные кандалы, от которых столько натерпелась, исполняя прихоти бесчисленных сюзеренов. Что народ снова стал единым. И в Баварии, и в Тюрингии, в Лотарингии и в Эссене, повсеместно, не просто говорят одно и на одном языке. Но считают себя одним целым. Даже баварцы, которые еще с времен Лотаря Первого, наверное, считались особой нацией, с особой культурой, устоями, языком... чем и кем угодно, но только не немцами. И это заслуга одного только человека – и, Роман, не говори только, что я не прав. Именно его заслуга. Ничья больше.

– Я думаю, не будь Гитлера, другой человек мог бы...

– Как видишь, смог только он, – почти по слогам закончил Клаус.

Вошла Грета с большим подносом, на котором стоял чайник в колпаке и пять чашек. Разговор немедля пресекся, все взгляды обратились на вошедшую, Роману внезапно вспомнилось, как замолкали они в кафе, когда подходила официантка, а они в это время снова и снова перебирали возможные варианты покушения. Мысли высказывались самые разные, даты предлагались так же в широчайшем спектре – плюс-минус полгода. Большинство бесед заканчивалось ничем. Хотя казалось, вот это удобный случай, вот тот еще больше подойдет.

– Вы наговорились?

– Скорее всего, да, – произнес Александр. – Хотя после такого захотелось не чаю, а коньяку.

– У Чарли есть коньяк. Румынский. Принести?

И снова молчание, покуда Грета не покинула комнату. Роман снова повернулся к Клаусу.

– И что же, только потому, что народ един, а Германия по настоящему сильна и независима, ты и решил выйти?

– У меня есть еще причины, но они личного свойства, более интимные, что ли. Это самая важная. И она для всех, не только для меня. Вообще для всех нас.

Он замолчал, достаточно выразительно, и оглядел собравшихся. Шарлотта молча стала разливать чай, Александр покачал головой – он хотел выпить, чего покрепче. Чарли подошла к Роману, молча налила ему чаю и бросила два куса сахара. Как прежде, когда они были одни – только они в целом мире. Чуть помедлив, он хотел найти ее руку, но опоздал, Шарлотта подошла к Клаусу. Тот тоже отказался, дожидаясь Греты. Когда девушка вошла,

не дожидаясь, взял бутылку, плеснул в бокал. И одним движением запрокинув голову, выпил. Слезы брызнули из глаз, он закашлялся, и долго сидел, переводя дыхание.

– Для всех нас не получится, – задумчиво подвел итог Фрайтаг. – Скажем, Роман... он у нас коммунист.

– Я беспартийный социалист, – уточнил Кройцигер, хотя в душе понимал, что Александр прав. Когда перебрался в Австрию, назвался именно тельмановцем, первым делом, отправился в коммунистическую ячейку. Именно там ему изготовили новые документы. К социалистам Роман относился с предубеждением – уж больно много их стало националистами, а затем и нацистами, сменив одну партию, на другую, НСДАП. Ровно тоже происходило и в Австрии, он и писать Чарли начал только потому, что да, во-первых, не мог больше, а во-вторых, коммунистов с усердием начали давить и там. А когда в тридцать четвертом они устроили мятеж, попытавшись захватить власть, прокатилась новая, куда более мощная, волна гонений.

– Не очень-то и заметно отличие. Думаю, ты, где надо, представлялся именно сторонником Тельмана, а не сочувствующим. Впрочем, тебе удалось избежать Бухенвальда, что не может не радовать. А вот Грета... с ней будет сложнее.

Девушка вздрогнула, оглянувшись на говорившего. Фрайтаг смерил ее пронзительным взглядом, та опустила глаза. Он взял бокал в руки, будто желая согреть его, медленно повертывал так и эдак, глядя на темную жидкость. Пригубил.

– Ты сейчас о том, что я не прошла... но ведь ты сам говорил, это не так и важно... – она осеклась. Впрочем, Александр снова глядел на Кюнца. Выпив еще глоток, спросил:

– Скажи, Клаус, а как ты собираешься выйти из нашего кружка? Под честное слово или напишешь объяснительную? Нет, я серьезно спрашиваю.

Кюнц несколько растерялся, оглядев собравшихся, он проговорил что-то невнятное, но потом откашлявшись, продолжил:

– Я полагал, что мое слово для вас что-то значит. Если я ошибаюсь, если вы мне после этих слов не доверяете, я могу... могу переехать. Вообще покинуть страну, скажем, перебраться в Австрию.

– Это уже Германия, мой друг, – напомнил ему Александр. – Полгода назад ты не скрывал восторга, что это произошло. И тоже говорил о великом воссоединении. Жаль, не все из присутствовавших это слышали.

– Да, я говорил. Но тогда это не касалось... нашего плана. Сейчас же... словом, за последнее время, многое изменилось. И для меня и для страны. Мы стали больше, нас стало больше. Мы уверенней смотрим в будущее и с нами считаются, больше того, нам уже не смеют указывать, что делать, нам теперь внимают. Нас стали уважать и бояться, как никогда прежде. Достаточно вспомнить, каким Чемберлен выскочил с переговоров с Гитлером, что он кричал в Лондоне о вековечном мире с Рейхом и о двух столпах: английском и немецком, что подпирают здание свободной Европы, не давая просочиться сюда большевизму...

– Ты не ответил на вопрос, Клаус, – напомнил ему Фрайтаг.

– Да.... Я уеду в Люксембург, нет, в Голландию. У меня в Роттердаме есть дальние родичи. Вы обо мне не услышите больше. В течении нескольких дней я соберусь и уеду, мне только надо предупредить хозяйку и своих родных. Все же, Ван де Вельды меня с детства не видели, даже не знаю, я им свалюсь, верно, как снег на голову, – он куснул губу, но ничего не сказал больше.

– Алекс, полагаю, ты удовлетворен? – вдруг спросила Грета. Фрайтаг кивнул. – А я нет. Если кому и уехать, так это мне.

– С какой стати, Гретхен? Ты разве не получила гражданства Рейха?

– Получила, но только.... Сами знаете, я ведь «четвертинка», а это всегда тревожило нашу семью. Тем более, закон постоянно ужесточали. Отец в свое время получил поддан-

ство, но в прошлом году ввели поправки в закон о гражданине, по новому положению он стал метисом, и его лишили места в юридической конторе, – она снова куснула губу.

Три года назад, когда закон о гражданине Рейха снабдили новыми поправками, к их подполью присоединилась Грета. Она тогда уже работала фармацевтом, в ее распоряжении находились ключи от любых ядов и смертельно опасных для здорового человека лекарств. Незаменимо для отравления, ведь поначалу они хотели совершить именно это.

– Я тоже не получил всех льгот и привилегий, положенных истинному носителю арийской расы, в юности болел много, а это непростительно, сами знаете. Посему, всего лишь подданный Германии, лишенный права избирать и быть избранным. Но раз я не член СС, НСДАП и тому подобных организаций, раз меня не касаются столь жестко законы о расовой гигиене, эти ограничения выглядят смешно. Ведь мы и так никого не выбираем, – он снова улыбнулся. Странная это была улыбка, словно Фрайтаг, получив ограничения в гражданстве, доказал что-то очень важное себе и теперь удовлетворен этим полностью.

– Ты так легко говоришь о таких важных вещах... А вот я серьезно, – Грета покусывала губы и нервно теребила пуговицы на платье. Наконец, взяла себя в руки. – Отец считает, нам лучше последовать впереди новых поправок в закон и загодя покинуть страну. Он давно уже собирался перебраться в СССР.

– Вам? – Шарлотта посмотрела на нее с некоторым удивлением. – Но с какой стати, ведь ты гражданка, давно живешь отдельно. Он не может за тебя решать. Может ехать, тем более, мы все еще общаемся с Союзом, но ты-то, Гретхен, не иди у него на поводу. Сколько ж можно.

– Все равно, он настаивает. Может, боится, что у него отнимут не только работу. Может, переживает за меня, за мать, но в одном он прав. Евреи действительно низшая раса, недочеловеки.

– Вот уж бред! – невольно вырвалось у Кройцигера.

– Нет. Доктор Геббельс прав. Не ассимилировавшиеся евреи опасны. Я знаю их, я ведь, – голос перехватило, – у меня много родственников в гетто. Дальних, но все же. Я бывала там часто, еще девочкой. Грязь, антисанитария.

– Кто создал гетто, ты можешь сказать? – вдруг полыхнул Кройцигер. – Ведь не сами же евреи...

– Именно сами, Роман. Будь у них сейчас своя страна, они и там жили так же. Вечно брюхатая мамаша водит выроdkов мал, мала, меньше, безмозглых, пустых. И от бескультуры, и от отсутствия медицины и наличия Торы и от близких браков. Близкородственных, – поправила она.

– У католиков тоже большие семьи и библия...

– У них есть общедоступная медицина и нет раввинов на каждый чих. А иудеи погрязли даже не в средневековье, они до него не добрались, остались жить в глухой античности. Нет ничего: ни культуры, ни знаний, ни просвещения, ни образования, ничего, кроме ветхозаветных книг и запретов... Как же мерзко было встречаться с отцовой родней, не понимаю, зачем он меня туда водил. И вот что странно, гетто занимало самый центр города, между площадью Бюлова и Мюнцштрассе. Без всяких оград – но разве забор может показать, какая изоляция от всего шла изнутри? – она вздохнула и продолжила скороговоркой: – Отцу тоже было мерзко. С ним не общались почти, хотя он, вроде свой, из колена первосвященников, но только не прошедший обряд инициации. А потому ни руки подать, ни за стол усадить. Он там как прокаженный бродил меж братьями по крови, ну да, его мать ведь нееврейка. Говорить мог только с теми, кто и так в немилости, то есть, кто сам унижен носителями истинной веры. Хотя таких большинство, хоть это утешало. И потом...

– Грета, ты можешь остановиться? – попросила Шарлотта. Та кивнула, но, чуть помедлив, продолжила.

– Многие живут нищенством, ибо это святое, так написано в Торе, а потому благостно. Обходят всякую квартиру и даже не просят – требуют денег. В гетто работают мало и глупо – если один вдруг решил заняться продажей, скажем, бижутерии, так все соседи хватаются за тоже дело. Все сразу и разоряются. И потом, помню, обязательно надо иметь в доме рояль. А разве кто умеет играть? Девочкам вообще запрещалось ходить в школу, несмотря на повестки из полиции, на штрафы, нет лучше заплатить сотню марок, но только чтоб не выбирались в мир. И еще у многих не было паспортов. Их пытались изгнать из города, а они втихую возвращались – героями. Еще бы, победили немцев. Германцев вообще ненавидели. Хотя многие и не знали языка, но и те, кто знали, старались не говорить на нем с пришлыми. А если и говорили, то так коверкали.... Никакой ассимиляции. Деда проклинали за брак с немкой, по нему отходную исполнили, как будто умер. Хотя он для них и вправду умер. Для них все умерло.

– Грета, может хватит уже! – не выдержала Шарлотта. Та, наконец, сдалась. Замолчала. Но тему продолжил Фрайтаг, неожиданно спросил у девушки:

– И кроме сочинений министерства пропаганды такие описания можно у самих еврейских авторов прочесть?

– У Шолом-Алейхема, его, в свое время, переводили с идиша.

– Алекс, давай не продолжать. Гретхен, милая, я понимаю...

– Ничего не понимаешь, Чарли, – Грета готова была расплакаться. – Неважно, что я не одна из них по закону. Я по сути еврейка. И это самое противное, что есть. Может, отец и неправ, но... евреев действительно надо изгнать из Германии, раз и навсегда. Ассимилировать не получится, это в России, где они власть захватили, но там и гетто не было...

– А слово «погром» пришло откуда? А евреи в Берлин бежали откуда? – строго одернула подругу Шарлотта. Грета как-то сникла, будто разом состарившись на несколько десятков лет.

– Все равно. Доктор Геббельс прав... Все, я сказала, наконец. Больше не буду, молчу. И так все время молчала, молчала.... Наверное, мне пойти лучше, – неожиданно закончила она.

– Куда? – не понял Клаус.

– К родителям. Я у них не была уже столько времени. Секретничаю, хотя сама, не верю в это все.

– Гретхен, не дури. Ты остаешься у меня, – безапелляционно произнесла Шарлотта.

– Я только вам мешать буду.

– Никому не будешь мешать, – тут же ответила Чарли и замолчала разом. Потом, чуть погодя, прибавила: – Простите, но следующие собрания пройдут в другом месте... где-нибудь. Вам придется подобрать самим.

– Чарли, ты тоже, получается... – Фрайтаг не договорил.

– Спасибо, родная, – прошептала Грета, Шарлотта обняла подругу, прижала к себе, поцеловала. – Я как от родителей ушла, все время одна и одна, на работе не поговоришь, все заняты, все время занята. Только тут можно освободиться. Вы же мои друзья.

– Ты поэтому в наш кружок ходишь? – уточнил Александр. Она кивнула. – Женщины, ну как вас не любить?

– Прекрати, – оборвала его Шарлотта. – Как будто сам никогда не был в подобной ситуации.

– Я мужчина, кодексом поведения мне положено молчать и бороться с обстоятельствами.

– Алекс, перестань ерничать, – Фрайтаг пожал плечами, допил бокал. Потянулся за следующим, да так и остановился. Повернулся к Шарлотте.

– Чарли, а почему ты собралась выйти из кружка? Ведь, должна же быть какая-то, как говорит Клаус, общая причина, не интимного свойства. То есть для всеобщего пользования.

– Я вовсе не это имел в виду, когда говорил про причины, – возмутился Кюнц. – Я... я выбрал самую для вас важную, для меня, а не просто понимание того, что при фюрере у нас стало и преступности меньше, и безработица резко сократилась, и еще много чего полезного и правильного произошло. И не стал поминать, как мне повезло, когда я засел за работу над книгой – ведь мне тогда не просто платили, но еще и еду давали, которую я брал с собой, родителям. Они все еще не могли найти себе никакой должности. Это сейчас...

– Ты сколько лет занимаешься книгой? – уточнила Шарлотта.

– Почти шесть, в июне будет годовщина.

– Чарли, так что с твоим ответом? – снова встрял Фрайтаг, пристально глядя на девушку. Та сморщилась.

– Это так обязательно? – он кивнул. Всегда требовательный, что к себе, что к другим, он желал знать точно – будто заносил данные в незримую записную книгу. Четкий сдержанный, именно такой человек и должен стоять во главе подполья. Чарли нашла самую удачную кандидатуру. Его словам всегда следовали без возражений.

– Все исповедовались на эту тему, – просто ответил Фрайтаг. – Настал твой черед.

– Хорошо, – она куснула губы. – Гретхен права, когда говорила о пришлецах. Я сейчас не о евреях, обо всех, приехавших в нашу страну. Если помните, в начале двадцатых у нас проходной двор был. Мало того, революция в стране, так еще и мигрантов отовсюду. Две соседние империи рухнули, и все оттуда к нам повалили. Вспомните, сколько народу прибыло, да одних русских больше миллиона. Но ведь есть те, кто прибывает и чтит законы и ассимилируется, а есть те, кто пытается со своим уставом в чужой монастырь. Почему-то власти их очень любили тогда, потворствовали. Места давали, все подряд разрешали, что доходный дом открывать, что публичный. И ничего не спрашивали, лишь бы куш иметь..., – она покосилась на подругу, но Грета молчала. – Так что, вот мое общее объяснение. Сейчас в Германии любой немец может получить работу, не кланча, не унижаясь, не давая мзду. Собственно, так нашла себя Грета, так я устроилась.

– Чарли, а ты где обрела себя?

– Устроилась на студию звукозаписи. И знаешь, Алекс, когда кругом единомышленники, совсем иначе на мир смотришь. Нам, на работе, конечно, до таких высот, – Шарлотта махнула в сторону патефона, возле которого лежала пластинка с маршем, – очень и очень далеко, но мы выпускаем современных исполнителей, которые пользуются спросом у публики. Распространяем в пару десятков музыкальных магазинов не только Берлина, но и окрест – в Потсдам, Котбус, Франкфурт-на-Одере. И еще, у нас есть один мальчик, лет восемнадцати, очень толковый техник. Он предлагает сделать пластинки долгоиграющими, не на одну-две мелодии, как сейчас, а на десяток. Изменив количество оборотов электрофона. Это не так сложно, он сейчас мастерит первую установку. Мы ее на выставке покажем.

Шарлотта долго смотрела на Александра, видимо, ждала от него нового вопроса об этом технике-вундеркинде, но тот молчал. Глянула на Романа, но мельком, и снова обняв Грету, продолжила сама:

– А по-вашему, где бы он был, не окажись в его распоряжении наша студия? Вот именно, нигде. А студия возникла только потому, что из доходного дома выселили всех мигрантов, а помещения стали сдавать в аренду разным мелким частным компаниям, вроде нашей. Да больше того, вот этот дом на Кайзерштрассе, думаете, как я его получила?

– После погрома? – спокойно поинтересовался Фрайтаг, наливая себе еще коньяку.

– Нет, разумеется. Хрустальная ночь и подобные выплески ненависти это варварство, сродни тому, что происходило в России в начале века и что просто не должно быть в цивилизованной стране. Но, с другой стороны, это и обращение к тем, кто не хочет понять,

где живет, как живет. Евреи с нами тысячу лет, и за это время ни на йоту не переменили уклад своей жизни. Разве так можно? Почему мы должны терпеть их выходки, а они нас нет. Ведь это немецкое государство, светское и... – она запнулась, но продолжила. – И еще. Нельзя унижать женщин, отказывая им во всем. Это тоже варварство, и с этим надо бороться, а не штрафовать и грозить пальцем. Женщина, она мать, значит, именно с колыбельной растет новое поколение. И каким оно будет, зависит только от нее.

– Славяне перемололи викингов именно так. И мы тем же способом растворили в себе славян. Больше того, Англия стала единой, только благодаря нашему нашествию, – тут же ожил Клаус. – А норманны принесли стране просвещение, веру и закон.

– Словом, вы меня поняли, – подвела итог Шарлотта. – Я остаюсь, а вам, к сожалению, придется подыскать другое место для подпольных встреч.

Она долго выискивала взгляд Романа, но тот упорно прятал глаза. Говорить не мог, сил не хватало. Кройцигер долго слушал их разговор, и чем больше слов втискивалось в разум, тем меньше хотелось понимать их. Одного Клауса Кройцигер еще бы понял, плохо ли, хорошо, но ладно. Однако сейчас... Очень хотелось подойти к Чарли, закрыть ей рот, отвести в комнату и прижав к себе, услышать другие слова.

Наконец, Роман повернулся к Александру. Произнес через силу:

– Нам придется покинуть помещение.

Александр покачал головой.

– Извини, друг, но помещение покинешь ты. Я останусь, по той простой и банальной причине, которую никто не хочет произносить, но все в нее верят.

– Алекс, ты первый...

– Да, я действительно первый предложил нам встречаться. Всех организовал, назначил, подготовил. Но очень многое успело произойти за три года наших встреч. И можно многое привести в качестве аргумента – и подъем экономики и увеличение заработка и валовой продукт на душу населения и занятость... словом, много. Я выбираю самый простой. Мне стало хорошо и приятно. Сейчас даже странно думать, что я еще не так давно, да, где-то лет семь назад, очень хотел уехать в Люксембург. Теперь я остаюсь, и со мной остаются мои друзья. И я этому рад.

– Но эта причина... – прохрипел Кройцигер. Картина мира треснула, начала расползаться. Закружилась голова. Он потянулся к бутылке, но понял, что не сможет налить. Замер.

– Роман, я не буду вдаваться в возвышенные пошлые подробности, почему и что на меня нашло. У меня есть дело, хорошее дело, я работаю на государство, вернее, сотрудничаю с ним. Заказов с каждым годом становится все больше, я расширяюсь, получаю ссуды в банках и... да, я потихоньку матерею и богатею, наверное. Я не стремлюсь получить все богатства мира, но я могу позволить себе каждый день есть мясо, как приличный бургер. Иногда сходить в ресторан, не зажимаясь. Купить что-то, дороже галстука. Подарить Чарли вот этот патефон на рождество. Роман, ты меня понимаешь? Или ты весь до сих пор в революционной борьбе?

Кройцигер не ответил. Уперев взгляд в бутылку на крахмальной салфетке, брошенной на столик, вокруг которого сидела их компания, он упрямо молчал. Мысли будто остановили свой бег, где-то и когда-то давно. Еще в Вене. Кажется, именно тогда он слышал похожие слова, правда отнесенные в далекое будущее. Вот победим, вот отобьемся, вот тогда и заживем. Будем есть мясо каждый день, будем рожать детей, не боясь, что не сможем их прокормить, а у них будут и школы, и больницы, и лагеря для летнего отдыха, главное, взять власть в свои руки, главное, чтоб наш мятеж удался.... Ради чего он поехал в Вену вместе со всеми? Потому как ячейка выдала ему фальшивый паспорт, а он оказался обязан? Ведь он мало общался с ними, да, по большому счету, никогда не верил в его силы. Что себе хотел доказать? Тоже, что пытается доказать сейчас?

– Роман, ты слышишь меня? – Шарлотта. Он с трудом очнулся.

– Чарли, прости..., я задумался.

– Я спрашивала, что ты решил. Ты остаешься с нами? – он все еще молчал. – Так как, остаешься?

Он оглянулся. Пристально посмотрел на спрашивавшую его, на ту, которой пытался признаться – в прошлой жизни, быть может. На ее близкую подругу. На своих друзей, ведь он их и теперь продолжает именовать так, даже мысленно. Вдохнул и выдохнул.

– Так странно. Я не знаю, что ответить.

– Но ты хочешь уйти?

– У меня нет выбора.

– Дружище, у тебя его и не было, – нагнувшись, произнес Александр. – Неужели ты еще не понял, одной очень простой вещи. Ты один.

– Я вижу. Я хочу сказать, – он помялся, снова взглянул на Чарли. Наконец, произнес: – Вы дороги мне. Но наш прежний путь мне тоже дорог.

– Выбор уже сделан. Вопрос только, присоединишься ли ты к нему или действительно останешься в одиночестве.

– Это не выбор, – слова уходили, будто в вату, Роман не слышал себя. – Это диктатура и варварство, а я не хочу...

– И я не хочу. Но на первых порах придется смириться с нынешним положением. Да, не всегда приятным, не всем удобным, но, поверь мне, так будет лучше. И для тебя и для других. Для всех.

– Я не верю, что Гитлер это идеал.

– Я тоже не верю. Да и кто на него молится, разве что совсем недалекие люди. Ну и члены партии, это понятно. Вот только он оказался лучшим из тех, кого мы выбрали за последние... сколько там, лет двадцать, наверное. Гинденбург упорно тянул страну в пропасть, как до него это делали Симонс, Лютер, Эберт.... Для сурового времени требуются суровые решения. Так что пусть пока будет диктатура.

– Сулла, если на то пошло, сумел в два года восстановить порядок в Риме, обладая диктаторскими полномочиями, – неожиданно влез Клаус. Александр даже не глянул на него, по-прежнему, пристально разглядывая Кройцигера.

– Все равно, это ненадолго. Гитлер не может править вечно, его сменят свои же. А потом... может, когда-нибудь и до республики доберемся. Если она нам нужна, эта республика.

– Ты сейчас о чем? Конечно, нужна. Просто фюрер принес нам столько благ, нельзя, чтоб он вот так сейчас уходил. Пусть еще лет хотя бы десять поправит, а после... не буду загадывать. Сменщики всегда найдутся, надо только их как следует подготовить.

– Не надо, Клаус. Ведь, главное, чтоб мы и дальше развивались такими темпами, чтоб стали теми, кем и должны быть. Столпом.

Роман слушал и не слышал их. Будто оглох разом. Как во время стрельбы в Вене, когда его контузило и осколком сломало кость ноги. Частный лекарь, которому заплатила за операцию ячейка, спешил избавиться от пациента, выпустил, едва зашив рану. Кость срослась плохо. Когда смог нормально ходить, понял очевидное – ему снова надо бежать. По старому паспорту выехал в товарном вагоне в Швейцарию, первое время прятался там ото всех, никому не нужный – ни чужакам, ни, тем более, местным. Через полгода, уже в тридцать пятом, вернулся.

Потом его разыскала Чарли. Он думал, надеялся, что она скажет одно, но.... Впрочем, тогда все равно бы не сказала, она была с Александром, он уже взяв командование над несуществующей еще группой, говорил веско, убедительно, строил планы, предлагая ему решиться. Стать на путь, по которому Кройцигер и так шел, не сознавая этого. Роман сопро-

тивлялся, он хотел остаться с Чарли, он надеялся... И только, когда она сказала об их новой клятве молчания, все понял. Сдался и согласился. Вдруг для себя осознав, что только сейчас не просто хочет, но наконец сможет убить Гитлера. Неудивительно, что он полностью отдал себя во власть общей идеи, подготовки к уничтожению лидера нации. Забыв обо всем личном, вернее, отнеся его в будущее. Когда их правосудие свершится. Когда можно будет говорить свободно – обо всем.

А сейчас... Фальшивый паспорт по-прежнему с ним. Германия с ним. А вот люди вдруг стали другими. Или он настолько ослеп, что не понимал, как это происходило. Ведь не за один год подобные изменения случаются. Сознание неподатливо, оно, отягощенное былым опытом, меняется неторопливо, пытаясь приспособиться к новой реальности. А если прежде отвергало его, боролось с ним, то на подобную метаморфозу требуется еще больше времени. Сколько же? Сколько они все молчали ему в лицо?

Кюнц и Фрайтаг прекратили благостный спор. Кажется, Александр успел что-то спросить у него, Роман, погрузившись в себя, не расслышал. Потряс головой. И ответил вопросом на вопрос:

– Я должен хотя бы попытаться понять. Когда вы... когда наш кружок перестал действовать?

Неловкое молчание. Виноватые лица. Виноватые ли? Или Чарли отворачивается, не желая встречаться взглядом, из боязни сделать еще большее. Но куда уж больше.

– Друг, прости, но мне кажется, он никогда не действовал, – произнес Фрайтаг. Человек, с которого и началось их подполье. Сейчас он смеется, потягивая коньяк и с усмешкой разъясняет данность. Так, будто выиграл партию в покер, не имея даже приличных карт на руках. – Знаешь, три года назад я, наверное, и стремился что-то изменить. Но позже... Осознание бесполезности борьбы настанет медленно, – он будто читал мысли Кройцигера. – Ко мне оно пришло примерно через год с начала наших встреч. Хотя я думаю, даже не приди, все одно кончилось бы именно так. Сам посуди, с чего это ни один из наших проектов не закончился успехом? Ведь сколько их было: застрелить Гитлера на зимней или летней олимпиадах тридцать шестого, – он начал загибать пальцы. – Убить его во время съезда НСДАП в Нюрнберге, зимой того же года. Взорвать в Мюнхене, во время ежегодного выступления восьмого ноября перед ветеранами. Взорвать во время парада в оккупированной Вене, снова прошлый. Убить во время возвращения оттуда, прямо на аэродроме. Убить... мне перечислять дальше?

Роман медленно покачал головой. Движение далось ему с трудом.

– Кажется, никто не собирался исполнять задуманное.

– Ты прав, – вдруг произнесла Шарлотта. – Прости меня, Роман, но я и не осмелилась бы. Не потому, что боялась, нет, я... из-за тебя. Ведь ты первым окажешься на подозрении, даже если у нас получится настолько здорово, что никто о нас не будет знать. Ты ведь бежал в Австрию сразу после поджога Рейхстага.

– Я уехал.

– А я... прости, говорю, не думая. Улетел, так будет правильно. Но всем казалось, что бежал, что избежал участи быть убитым, при поимке, как сотни других коммунистов, оказаться в Бухенвальде, как Тельман и его соратники....

– Я не коммунист, – он говорил на автомате.

– Я знаю, но для гестапо разницы нет. Когда ты вернулся, с фальшивыми документами, с лицом, изборожденным бесконечными страданиями, но и отчаянной решимостью, я поняла, что должна уберечь тебя. Мы жили тише воды, покуда тебе не удалось вернуться по-настоящему. Устроиться на работу, подыскать жилье.

– Мы могли бы оставаться вместе и дальше. Мне казалось, мы делали одно дело, – почему-то произнес он. Шарлотта покачала головой. Но ничего не сказала. Неловкую паузу прервал Фрайтаг.

– Теперь ты понимаешь, что наш кружок – он, скорее по интересам. Мы верили и не верили в свое дело, вернее, мы верили в то, что не верим в него. Но собираться вместе, тайно разрабатывать планы, которые никогда не осуществляются – это...

– Алекс, что ты несешь? – возмутилась Грета.

– Но ведь это правда, Гретхен. Сущая правда, ты должна понимать, насколько наши потуги оказывались несерьезны. Ведь, ни одно покушение не пошло дальше разработки плана, да и на этом этапе непременно находился кто-то, кто саботировал его. Отсюда простая мысль: мы ничего не хотели, кроме, как побыть вместе в созданной нами нереальной опасности... – и неожиданно продолжил: – Наверное, не только мы одни. Ведь были и другие организации, занимавшиеся подобным.

– А сейчас? – невольно спросила она.

– Сейчас нет. И давно уже. С той поры, как фюрер занялся не просто чисткой рядов, но экономикой, на него не было покушений. Может и были, но столь же, как и у нас, иллюзорные. Да и зачем? Он вытащил страну из нищеты, подарил новые идеалы, уверенность в завтрашнем дне, возвысил немцев, вернул земли, отторгнутыми или во времена недавней республики или некогда раньше. Никто не желает – ни здесь, в доме на Кайзерштрассе, ни в Берлине, ни во всей остальной Германии, – слышишь, Роман, – никто не желает смерти фюреру. Немецкий народ принял его, пошел за ним, утвердился в мысли, что Гитлер и есть их ставленник, их мессия, как почитает его Клаус. Человек, который построит тот Тысячелетний Рейх, о котором говорит почти постоянно. Ни в ком, кроме самых отъявленных безумцев, нет даже мысли навредить ему. Мы приняли фюрера, все склонились перед ним, согласились с тем, чтоб он правил нами, как вздумается, оставив нам лишь величие, веру в светлое будущее и благополучие. А большего и не требуется. Мы стали единой нацией, мы сплотились ими, мы сами подняли его на щит. И теперь еще долго не снимем, до тех самых пор, покуда он не сделает чего-то особо безумного. Но даже если и сделает... – Фрайтаг помолчал, разглядывая Кройцигера, съжившегося в кресле. – Даже если такой безумец, как ты, найдется...

– Вы не выслушали мой план, – неожиданно резко произнес Роман.

– Ты по-прежнему готов убить Гитлера? – тут же подскочил Клаус. – Но ты же один, у тебя не может ничего выйти.

– Клаус прав, – резюмировал Фрайтаг. – Германия против тебя. Но даже если ты сможешь что-то сделать, если убьешь фюрера, поверь, ничего не изменится.

– Я не понимаю.

– Постарайся понять. Народ верит носителю идеи, но даже если носитель погибнет, неужели, ты думаешь, не найдется других – его товарищей по партии, молодых протеже, кто мог бы поднять упавшее знамя и нести его дальше. И уже за ним пойдут миллионы. За новым фюрером. Как бы его ни звали.

– Ты так говоришь..., – беспомощно произнес Кройцигер. Голова закружилась сильнее, он понял, что не может больше находиться здесь.

– Я даже не сомневаюсь в этом, – холодно отрезал Александр и с силой поставил бокал на столешницу. От резкого звука все, находящиеся в гостиной, вздрогнули.

Роман, оглушенный, поднялся. Через силу сделал шаг, другой, по направлению к выходу из комнаты. Следом за ним поднялась Шарлотта. Он покачал головой.

– Куда ты? – он пожал плечами.

– Не знаю, Чарли. Но мне надо уйти. Я должен...

– Что? – с тревогой спросила она. Роман не ответил. Медленно подошел к опустевшим стойкам на входе в гостинцу. Некогда там располагались головы Мессершмидта. Дегенеративное искусство. Он должен был понять. Он ничего не понял.

Кое-как зашнуровав ботинки, открыл входную дверь и едва не скатился с крыльца. Тяжело дыша, оперся о кирпичную кладку стены – счастье, никто, по его просьбе, не вышел провожать, никто не видел его сейчас. Желудок сковал спазм, он согнулся пополам, упал на колени, ожидая рвоты. Ничего не последовало. Постепенно спазм прошел. Головокружение стало потихоньку униматься.

Он прислонился к кирпичной стене, тяжело дыша, слыша лишь биение своего сердца. А когда сумел подняться, из окна донеслись слова Фрайтага.

– Исчезновения с карт Люксембурга, Лихтенштейна, даже половины Швейцарии никто не заметит. А вот с Польшей серьезней. За ней Франция, а значит...

– Значит, придется отнять силой, – продолжил Клаус. – Ведь это же наши земли. И Силезия, и Померания.

– Я слышал по радио, американский журнал «Тайм» назвал Гитлера человеком года. Статью из журнала зачитывали долго, но последнюю фразу я помню до сих пор: «Нам представляется более, чем вероятным, что Человек тридцать восьмого года может сделать год тридцать девятый незабываемым».

В темноте



Неизвестный фотокорреспондент ТАСС «Рукопожатие союзников»

События последних недель и дней кажутся кошмаром, от которого никак не удастся проснуться. Всякий раз реальность находит лазейку, чтобы уйти, ввергнув в леденящую темноту полных видений. Ускользает, оставляя лишь скопище снов разума и их бесчисленные порождения.

Когда началось это – первого сентября?... нет, гораздо раньше, в августе. Когда стало понятно, нет, не из газет, причем здесь газеты, каким-то нутряным, подсознательным ощущением, что надвигавшиеся с начала лета тучи все же прольются кровавым дождем. Бежать чувства этого не удавалось – самый воздух казался пропитан им. Сгущаясь в очередях, на стихийных митингах, просто на улицах, среди рабочего люда с газетами или листовками, едва разряжаясь в парках и скверах. С каждой неделей воздух плотнел, загустевал тягостной невыносимой тоской. От которой никак не удавалось избавиться. Разве на краткий миг – среди сжатых полей и проселочных дорог, покидая ставшие душными города.

А первого сентября, рано утром, западная граница рухнула. Немецкие войска маршем двинулись на Варшаву и Краков. Как говорилось по радио, после ожесточенных кровопролитных боев, в которых кавалерийские полки были брошены на танковые дивизии вермахта, тевтонские легионы захватили весь запад страны. Шестнадцатого числа правительство оставило страну и бежало. Семнадцатого, когда в Польше воцарилась анархия, с востока волной обрушилась Красная Армия. Добывать. Мстить за позор двадцатого года.

Им никто не препятствовал. Как таковой Армии польской уже не существовало. Были лишь командиры, не пожелавшие склонить голову перед оккупантами. На пути захватчиков стеной встал Брест. И еще несколько городов. В том числе Вильно. Офицерский состав гарнизона, в котором я служил всего несколько дней назад, принял решение оборонять город до последнего. Восемнадцатого мы приняли первый бой. Кажется, до нас фронт большеви-

ков вообще не встречал сопротивления – войска в белорусских воеводствах полками бросали оружие, и с явной охотой переходили на сторону оккупантов.

Первая стычка – скорее, проверка, что это действительно противник, – затем долгая, мотающая нервы тишина. Девятнадцатого на нас обрушились всей массой. Авиации и бронетехники в Вильно не было, гарнизон оборонялся, как мог и как умел. До тех пор, пока Томаш Бердых, мой друг, не поднял белый флаг, сдавая позиции врагу. Душащая горло паника, затем прорыв, и новые кровопролитные схватки. С бойцами, повернувшими штыки вспять.

Двадцатого гарнизону, жалким остаткам, снова было предложено сдаться. Предложения все те же – мы воюем не с рядовыми, а с «прогнившим режимом», все, кто добровольно сложит оружие, будут немедленно отпущены. Все, кроме офицерского состава, они вынудили нас затеять эту войну, они будут отвечать. Сдайте их, и вы свободны.

Начальник гарнизона собрал оставшихся под его командованием и приказал, срезав знаки различия, идти к большевикам. Он сам вышел говорить за гарнизон. Переговоры закончились быстро, он был взят под стражу, остальным – кроме офицеров, конечно, – разрешили покинуть место сражения. Солдаты объявили меня своим, только так я сумел избежать уготованного мне заключения. Или смерти – ожидать другого от новых властей не приходилось.

А танки уже грохотали по Вильно, окрасившемуся в белый цвет. Цвет страха, наконец-то нашедшего свое обозначение – в полотенцах, наволочках, простынях, вывешенных едва ли не в каждом окне. А еще в астрах, срезанных с клумб садов и скверах, бросаемых толпой под гусеницы бронемашин, словно это были гранаты. В отчаянных выкриках приветствия, больше похожих на плач. В плакатах, безбожно коверкающих оба языка – нечаянно или намеренно.

Еще три-четыре дня на окраинах Вильно постреливали, а по ночам ездили, поблескивая мертвыми фарами в свете луны закрытые грузовики. По улицам города ползли слухи самые дикие, мол, нашенские коммунисты сводят старые счета. А затем заработало радио, уже большевистское. Сообщило, что дружественные советские и германские войска в знак победы провели военный парад в Бресте. Значит, пал и он.

Все это я слышал и видел, как многие другие, бывшие солдаты Армии польской, неприятно шатаясь по улицам с утра до комендантского часа, исподволь, вдали от ока красноармейцев, получая милостыню, о которой язык не поворачивался просить. А с наступлением часа волка уходил с улиц, ночевал в подворотнях, подвалах, где придется, пережидая воцаряющийся холод и безмолвие.

Выехать из города невозможно было, через оцепление на вокзале по прибытии каждого поезда, через заставы на дорогах. Да я и не стремился к этому. Одно дело все еще оставалось незавершенным в Вильно. Только одно.

С двадцать четвертого большевики принялись наводить порядок – солдат возвращали к прежней работе, но на новую власть, заодно проверяя воинские билеты. Видимо, сочли недостатку офицерского состава гарнизона и шерстили всех подряд. Мне оставаться и дальше караулить у дома, где жили родители Томаша Бердыха, стало небезопасно. Вечером двадцать восьмого, прослушав последние новости, я перебрался в другую часть старого города – на Угольную улицу, к цветочному магазину, коим владела и где жила возлюбленная моего бывшего друга – Линда Могилевец.

Окна второго этажа еще светились. Я прокрался к черному ходу, открыл дверь, запертую всего лишь на крючок, и, тихонько побродив по пустому дому, поднялся к комнатам Линды. Она была в гостиной – стоя у двери, я слышал, как шуршали страницы книги, да изредка поскрипывало кресло. Затем до моего слуха донеслось шорканье тапочек по узор-

чато́му персидскому ко́вру, подаренному Линде ее дедом во времена оны и покрывавшему весь пол. Звяканье посуды.

Я дернул за ручку двери. Заперто. Нерешительно постучал.

Она открыла тотчас же. И замерла на пороге.

– Ян? – растягивая имя, произнесла она. – Ты,... Но как.... Да что же стоишь, проходи....

И смолкла, увидев в руке наган. Я не дал ей времени задать вопрос.

– Где Томаш?

– Но Ян...

Отстранив Линду, я вошел в гостиную, держа наган наготове. Заглянул в ее спальню, комнату для гостей, библиотеку, ванную, чулан – повсюду открывая шкафы, заглядывая за занавеси, под кровати, за ширмы. Затем вернулся.

Линда по-прежнему стояла у незакрытой двери – с лестницы тянуло морозным воздухом – и смотрела, нет, не на меня, на мое оружие. Кажется, именно оно имело большее значение, нежели его обладатель.

– Где Томаш? – повторил я с нажимом. Линда не шелохнулась, казалось, она вовсе не слышала вопроса.

– Я не видела его, – чуть слышный шепот. – С последнего увольнения. В августе.

– Ты лжешь!

– Я не видела его, – так же тихо повторила она.

– А родители? Ты звонила пани Ангелике?

Губы сложились в утвердительный ответ, но короткое «да» так и не слетело с ее уст. Все внимание Линды приковывал мой наган.

– Он звонил им. Обещал зайти, когда все утрясется.

– Когда?

– Вчера.

– А тебе?

– Нет.

– Поссорились?

Она бросила на меня короткий взгляд и тут же опустила глаза.

– Убери револьвер,... пожалуйста.

Я механически дернул рукой, и, только взглянув на наган, нерешительно сунул в карман брюк.

– Зачем ты пришел? – спросила она. Мне показалось, ответ она знала и так. Просто проверяла меня.

– Я же сказал.

– Знаешь, первое время мне показалось – когда ты понял, что его нет... – больше еще долго не было произнесено ни слова.

За окнами проехала машина. И снова воцарилась все та же мертвенная тишина.

Наконец, она встряхнулась.

– У меня нет Томаша. Ты все видел. Может, объяснишь, почему он так нужен тебе сейчас? – я посмотрел на нее. Встретившись взглядом, опустил глаза. Будто увидел серые стекляшки, замороженные моим вторжением.

– Не сейчас. С девятнадцатого. Еще когда шла война, – Линда пошевелилась, но не произнесла ни слова. – Он сдался большевикам. Поднял белый флаг. Первым. Вслед за его предательством в гарнизоне началось брожение: было убито пятеро командиров, солдаты начали дезертировать. Полковнику удалось остановить брожение, мы держались сутки. А затем...

– Бессмысленно, – прошептала она.

– Затем начальник гарнизона приказал сдать позиции. Ввиду невозможности сопротивления и дабы уберечь солдат от смерти. Им была обещана амнистия. Большевики выполнили обещание. Первые сутки никого не хватало, пока не выяснилось, что часть офицеров ушла из гарнизона.

– И ты...

– Мне помогли. Потом были расстрелы, наверное, и нас должны были расстрелять, – как-то механически ответил я, и только затем увидел ее лицо.

– Томаш...

– Нет, он ведь сдал своих. Видимо, первое время был у большевиков, а теперь отпущен. От них он мог звонить. Все это время я ждал его у дома пани Ангелики. Он так и не появился. Тогда я подумал, что он может быть у тебя.

– У меня его нет, – повторила она, кажется, не вдаваясь в смысл сказанного.

– Пани Ангелика ничего не говорила о сыне?

– Она сказала, Томаш был краток. Извинился, что не мог позвонить раньше, обещал прийти, как только будет такая возможность. Сказал, что не может долго занимать телефон.

– Жаль. Если он действительно у большевиков...

– Они его расстреляют, – беззвучно произнесла Линда.

– Возможно. Но зачем, по-твоему, пришел сюда я?

Это было жестоко с моей стороны – вот так в лицо говорить ей такое. Но Линда не шелохнулась, опустила глаза, видимо, снова искала наган в моей руке. И, не найдя, стала всматриваться в лицо. Я уже не сомневался, она все поняла с самого начала. Одного лишь вида оружия оказалось вполне достаточным.

– Это был приказ, – она не спрашивала, лишь ждала подтверждения.

Я молчал, не зная, что ответить. Когда волнения после сдачи позиций Бердыхом улеглись, полковник призвал меня к себе. «Бердых, насколько я помню, ваш друг детства». – «Был, – сказал я. – Теперь уже нет». – «Тогда вы понимаете, что».... Грохот упавшей бомбы заставил нас замолчать. Сверху за ворот посыпалась бетонная пыль. Разговор замер и не продолжался более. Впрочем, мы поняли друг друга и без слов. Я кивнул, отдал честь и вышел на позиции.

– Это было соглашение, – наконец, мне удалось подобрать нужные слова. – Прости, но я обязан это сделать. Если бы Томаш оказался у тебя...

– Ты бы убил его.

– Если б успел. Он ведь тотчас бы понял причину моего визита.... Как и ты.

– И я ничего не смогла бы сделать? Ян, хоть раз посмотри мне в глаза, – Я покачал головой, неотрывно глядя на занавешенное окно.

Она кивнула: медленно, неохотно. И неожиданно указала на кресла.

– Ян, сядь. Сядь, ты устал с дороги, – я подчинился, удивленный последними ее словами. Линда секунду или две постояла рядом, затем перетаскала кресло напротив и села. – Теперь объясни, зачем тебе это. – Я молчал. – Я слушаю тебя, Ян.

– Я уже все рассказал тебе.

– Про приказ.

– Про предательство. Томаш предал нас. Не меня, это я мог бы простить. Всех нас, – «Вас», – автоматически повторила она. – И вас тоже, всех и каждого. Он забыл о стране, о воинском долге и чести офицера.

– Какой стране? – глухо спросила она. – Польши нет на карте мира.

– Когда мы сражались, она еще была. И надежда, пусть ничтожно малая, но оставалась. Он предал ее. И еще он забыл о тебе, Линда. Страны нет, но ты ведь осталась. Остались твои родители, они ведь сейчас в деревне, да? – она кивнула, – мои родители, его. Жители Вильно.... Он предал их. Отдал на откуп большевикам.

– Солдатам была обещана амнистия. Я, как и все, тоже слышала это, едва Красная Армия вошла в Польшу. Не сопротивлявшихся им они не тронули, и потому одержали победу. Их встречали цветами, даже здесь, в Вильно. Большевики воевали против «панской Польши», против высших сословий. То есть, против тебя, Ян. И победили. Ты этого не можешь ему простить?

Я дернулся, как от удара.

– Ты полагаешь, если бы Вильно не оказал сопротивления, ничего не было бы? Никого бы не расстреляли? Томаш хотел выжить, потому и переметнулся на сторону большевиков.

– А ты воевал бы до последнего.

– Мне дорога моя честь.

Неожиданно она засмеялась. Сперва тихо, затем все громче и громче. И внезапно смолкла. А когда заговорила, я похолодел.

– Ты до последнего бы прикрывался солдатами, зная, что их жизни все равно не спасут твою? Хотя они бежали от тебя, к своему спасению, но ты упрямо держался за честь, продолжая драться. Хотя сопротивление было бессмысленно. Все знали, что сопротивление бесполезно. Но ты дрался бы до тех пор, пока не кончились патроны или солдаты. А последняя пуля в висок, да? Это надо понимать под словами «честь офицера»?

Я молчал. Но и Линда, выговорившись, не хотела продолжать. На улице слышались шаги. Я дернулся к окну, осторожно отодвинул занавеси: сталь штыков отразилась в полной луне. Патруль.

Медленно я вернулся и сел в кресло.

– Теперь я задам тебе вопрос, Линда. Если бы тебя, не дай Бог, конечно, начали насиловать, ты оказала бы сопротивление? Даже если бы насильствовал не один, а двое, трое, десятеро, ты все равно сопротивлялась бы? Хотя это и бессмысленно. И тебя бы ударили головой об асфальт, чтобы не мешала, и продолжали занятие. А потом отпустили на все четыре стороны со смешками и прибаутками, или погнали по улицам, как затравленного зверя.

Она даже не вздрогнула от моих слов. Молча, не перебивая, выслушала до конца. А затем ответила:

– Это не одно и то же, Ян.

– Это одно и то же, Линда.

– Это не одно и то же. Насильника еще можно простить. Но убийцу не простит даже Бог! – вскрикнула она. В эти мгновенья ее лицо было белее белого.

– Теперь ты вспомнила о Боге.

– Я католичка, я не просто вспомнила. Это часть меня.

– И я католик, Линда. Но ты не хочешь понять...

– Убийства? Нет, не хочу. Ты мстишь, и эта твоя месть, что в моих глазах, что в глазах Всевышнего....

Я подвинул кресло поближе к Линде.

– Ты, кажется, забыла, что месть угодна Всевышнему. Евреи отмечают праздник Пурим, день, когда царь вавилонян согласился на право мести против Амана и его народа. И евреи с удовольствием мстили, подробности читай в книге Есфирь. А месть амаликитянам....

– Они были народом неправедным.

– Ну да, а еще занимали чужое место. Евреям некуда было возвращаться из плена. Примеров я могу привести множество, начиная с самого Каина. Так что не трогай Библию, эта книга настолько пропитана кровью, что лучше оставить ее попом. Они единственные, кто умудряются братья за нее и не оставлять следов на руках....

– Ты богохульствуешь, – с нажимом произнесла она. И тихо. – И бессмысленно предаешь своего Бога.

Я не слушал: неожиданно в голове блеснула другая мысль, без перехода я начал говорить о ней.

– Впрочем, вера уже не имеет значения. Мы теперь на большевистской земле, а значит, Бога больше нет.

– Ян!

– Вот, именно, Ян. Теперь и у нас будут порушены храмы, а статуи Христа и Богородицы превратятся в гипсовую пыль или золотой лом.

Линда порывисто вскочила с кресла, обошла его, и, вцепившись в спинку, резко произнесла чужим металлическим голосом.

– Человек не может жить без Бога. Ни один человек.

– Эти могут. Сто семьдесят миллионов. Живут уже двадцать лет. И мощь их только растет.

– Однажды Господь низвергнет их на землю, и рассеет, как строителей Вавилонской башни.

– Видимо, не при нашей жизни, Линда. Уж точно не при моей.

Враз обессилев, она снова села.

– Ян, – не разжимая губ, произнесла она. – Неужели ничего нельзя поделать?

– Ты сама сказала...

– Я о другом. О тебе. О Томаше. Неужели теперь, когда ничего не осталось – ни страны, ни веры, ни, по твоим словам, даже Бога, ты все еще одержим мстью.

Лицо непроизвольно дернулось.

– Кое-что осталось. Мы с тобой. Народ. Люди.

– Прости, Ян, я не с тобой. А народ... он и не был с тобой. Вспомни, сколько вышло на улицы двадцать четвертого. Ты видел? – я неохотно кивнул. – Сколько несли красные знамена, будто хоругви. А сколько людей приветствовало большевиков, как освободителей, тогда, двадцатого, когда оборона пала. Что вы защищали там, в гарнизоне – свою честь? И все?

– Если ты думаешь, что большевики принесли Польше мир и процветание, то заблуждаешься. Что они творят внутри собственной страны, можно прочесть в любой большевистской газете. Теперь тоже будет и у нас. Вот ты, хозяйка магазина, тебя следует обобрать до нитки и сослать в Сибирь. Частная собственность у них запрещена. Вот твои родители, владельцы именьища и винокурни под Вильно. С ними поступят так же, возможно, вы встретитесь в одном вагоне. Вот Томаш, он хоть и пособник, и проданся им, но отец у него капеллан. И вот я, дворянин, значит, меня следует расстрелять. И отца моего, поскольку он сам Рышард Засс, следует сперва расстрелять, а потом повесить: ведь именно он обвалил наступление красных в двадцатом и погнал их прочь. И мою мать, раз она...

– Ян, они ведь в Кракове, на немецкой стороне.

Я замер. Закрыв глаза. Затем, – время попросту провалилось между век, – открыл. Линда по-прежнему недвижно сидела на краешке кресла, пристально глядя на меня.

– Как они? – мягко спросила она. – Ты слышал что-нибудь? – я покачал головой. – До меня доходили вести самые... – и замолчала на полуслове. Но не выдержала. – Мне дядя звонил из Познани, позавчера. Там всех, всех поляков, мешают с землей. Мою двоюродную сестру Крыстину арестовали, якобы она прятала у себя оружие для подпольщиков. Насчет оружия, чушь, конечно. Крыся... да она и мухи не обидит. Только с пятнадцатого о ней никаких известий. Дядя сколько ни пытался узнать.... А потом связь прервалась. И с тех пор я больше не могу до него дозвониться. Мне все время говорят только одно: с немецкой территорией связи нет. И до родителей не могу. Сколько ни набираю номер – никто не берет

трубку. Длинные гудки. А на седьмом, я считала, обрывает коммутатор. Я не могу больше так, Ян. Это просто невыносимо, просто...

– Просто месть, – скрипнув зубами, процедил я, слушая удары сердца, стучащего будто где-то снаружи, долбящего молотком в грудь. – История вообще полна мести. И предательства. Мы второй раз заключаем союз с французами, и второй раз Польша после этого перестает существовать.

Неожиданно она бросилась ко мне, обвила шею руками, прижалась к плечу. Пылко зашептала на ухо, обжигая горячим дыханием.

– Ян, обещай мне, что хотя бы ты не убьешь. Хотя бы ты не станешь....

– Линда, я....

– Обещай, прошу тебя. Умоляю. Только оставь Томаша, ведь тебе все равно, тебе уже никуда не деться, а мы, может быть, сможем как-то вместе.... Прощу тебя, Ян. Если мы будем одни и никого больше не тронем.... Хочешь, я встану на колени?

Она уже стояла на коленях перед моим креслом. Я поднялся, с трудом вырвавшись из ее рук. Линда мягко, неслышно, упала на пол и разрыдалась. Мне с трудом удалось усадить ее. Я присел на подлокотник и долго ждал, когда она успокоится. А затем подошел к окну. Всклипывания замерли, я обернулся.

– Прости, Ян...

– Нет, это ты прости меня. Мне не следовало говорить, надо было просто молча уйти и ждать в другом месте. Или сидеть и говорить о прошлом. О разных пустяках. Прости, я на самом деле очень хотел сказать тебе все это. Разделить свою боль. Ведь он мне был как брат. Больше, чем брат. Я все отдал ему. Даже тебя, тогда.... А теперь... мне казалось, я могу переиграть, получить все обратно.... Нет, даже не переиграть. Ты права, мой приход к тебе...

Затрезвонил телефон. Линда бросилась к нему, подняла трубку. Мужской голос зашебуршился в мембране, с полминуты она слушала его, а затем резко прервала связь, ударив по рычагам. И осторожно положила трубку на место.

– Дядя? – зачем-то спросил я, хотя и так знал имя звонившего. Линда не уцепилась за мою подсказку. Минуту она смотрела мимо меня, на дверь, а затем произнесла:

– Нет. Местный звонок, – и не стала продолжать.

Я поднялся.

– Прости. Мне пора уходить.

– Ян....

– Я помню. Мне действительно пора.

Она только смотрела, как я иду к двери, отворяю, начинаю спускаться по лестнице. На улице проехала машина, внезапно взвизгнули тормоза. Я замер, вслушиваясь в наступившую тишину. И тут только заметил, что следом за мной вышла и так же вслушивается Линда.

Хлопнула дверь, послышались чьи-то шаги. Я подошел к боковому окну, выглянул, вглядываясь в темноту пустынной улицы. Черный «Фольксваген» притормозил у самого цветочного магазина, из него вышел человек в форме, посветил фонарем в пространство перед собой. Затем произнес что-то – на русском. Я понял только одно слово «подойди».

И тут же уже на польском: «Доброй ночи, я Томаш Бердых, бывший командир...». Через мгновение Линда была уже подле меня.

Рядом с русским выросла еще одна фигура, на какое-то мгновение мне показалось, что говорила она – вопреки всякой логике, ведь голос шел из темноты. Быстрый обмен репликами на обоих языках, затем просьба предъявить документы – фигура долго сличала фото, словно не веря вошедшему в круг света Томашу. Едва завидев его, Линда вцепилась мне в плечо с удивительной силой, не замечая этой своей силы, и закусил платок, сцепила ткань зубами, чтобы не закричать. Томаш спокойно стоял возле русских, сверявших документы, почему-то улыбался. Затем спросил, все ли в порядке, и в чем заминка. Он спешит. Рус-

ский извинился, оглянулся на владевшего языком оккупированной земли товарища, и еще раз произнес «пшепроше», заговорил о каком-то недоразумении, попросил проехать вместе с ними в комендатуру. Его коллега переводил. Еще один, я только сейчас заметил это, сидел на заднем сиденье, ожидая всех троих. Он курил, поминутно поглядывая на часы.

Улыбка застыла на губах.

– Какая-то глупость, – произнес Бердых. – У вас что там, начальство сменилось?

– Совершенно верно. Мы специально разыскиваем вас. Полагаю, это не должно занять много времени.

– А до завтра что, подождать не может?

Русский покачал головой и снова указал на заднее сиденье. Выхода не было – если только не безумный выход. Но Томаш и не подумал о нем, подошел к машине, похлопав по крыше, спокойно стал садиться. Напоследок оглянулся с сожалением на светящиеся в темноте окна цветочного магазина. Улыбнулся, произнес что-то, я не разобрал слов. Линда с такой силой впиалась пальцами в мое плечо, что я почувствовал, как ногти входят в плоть.

Говоривший на польском, сел рядом с Томашем, зажав его на заднем сиденье между собой и курившим, и резко хлопнул дверью. В то же мгновение «Фольксваген», визжа шинами, развернулся и рванул прочь, набирая скорость. Пара секунд и он скрылся из виду. Еще несколько – и наступила тишина.

И только тогда я почувствовал, как у меня под рубашкой течет кровь. Вздрыгнул и попытался обернуться, лишь в последний момент запретив себе делать это. И все же краем глаза увидел Линду, присевшую на ступеньки лестницы. Взгляд не выражал ничего. И снова глаза казались пустыми стекляшками серого цвета, неудачно подобранными к белоснежному девичьему лицу. Она почти перестала дышать, когда увидела садившегося в машину Томаша – и до сих пор сдерживает дыхание, не веря случившемуся. Ожидая возвращения машины. Исправления оплошности. Окончания будто специально разыгранного перед нею спектакля.

Я поднялся и стал спускаться по лестнице, медленно волоча разом отяжелевшие ноги. И когда рука уже ухватила за ручку двери, сзади послышалось глухо: «Ян». Я остановился, придерживаясь за дверной косяк. Снова не дал себе обернуться.

– Подожди, – тихо произнесла она. – Хоть немного. Я прошу тебя. Хотя бы до утра. Подожди, Ян...

– Не могу, Линда. Мне надо идти.

– Но куда? – я механически пожал плечами, не сознавая жеста. Лишь потом вздрогнул, вспомнив. – Может быть, ты все же подождешь....

– Нет, не надо.

– Тогда ответь только на один вопрос, – я поспешно прикрыл дверь, щель черной глухой улицы сузилась и исчезла. – Ян, – но я не оборачивался, упершись взглядом в руку, что есть силы сжимавшую ручку двери. В потускневшем свете они сливались, плоть незаметно переходила в дерево.

– Томаш... он ведь вернется?

– Он же обещал.

Линда покачала головой, я мог не видеть жеста, но прекрасно чувствовал его.

– Ян, – ее боль запоздало пронзила меня. Как же запоздало. – Хоть ты не уходи. Подожди хотя бы недолго. Пережди ночь со мной. Я не могу... я не хочу, чтобы ты уходил таким.

– Я должен уйти таким, – пробормотал я. Наверное, она слышала. – Память скверная штука. Будет лучше, если она оставит тебе лишь это...

Я распахнул дверь и вышел. Дверь закрылась немедленно, обрезая прощальное «Ян», отрезая от круга света, в котором продолжала оставаться Линда. Я устало, не разбирая дороги, брел в темноте, с каждым шагом уходя от него все дальше.

Зверь



Неизвестный автор «Советские военнопленные»

«Овечка», натужно пыхтя, тащила поскрипывавшие деревянные вагоны к конечной, опаздывая почти на час. К концу пути ей удалось немного выбрать отставание, но поезд все одно добрался до райцентра в начале четвертого. В вагоне было душно и жарко, народу ехало много, судя по всему, возвращались на выходной. Вот только места рядом со старшим лейтенантом, вошедшим на сортировочной, пустовал, да и те старались держаться края лавок, словно Тихон был чем-то болен.

Паровоз остановился, не доезжая до вокзала – на нем, видимо, уже давно проводилась реконструкция перрона. Пассажирам пришлось прыгивать прямо на насыпь, бросая чемоданы и узлы на черный, покрытый гудроном и сажей щебень.

Он сошел последним, дождавшись, когда столпотворение закончится. Маленький коричневый чемодан и планшет – все, что было с ним из вещей, отправившихся в долгое путешествие из Киева во Львов и далее на север, вдоль новой границы с Германией. И в неохотно расступающейся толпе старший лейтенант прошествовал сперва на вокзал, а затем на площадь перед ним. Керженец когда-то мог назвать этот тихий городок родным, но это было в те далекие, давно запечатанные времена, которые называют ранним детством: родители уехали отсюда, когда ему не исполнилось и четырех, а потому все воспоминания тех лет поблекли, растворившись в других, более поздних, связанных с другими городами и весями: Киев, Воронеж, Тула, снова Киев. И теперь ему почему-то казалось, стоит только сойти с поезда, как он начнет узнавать родные места. Ничего подобного. Не то за прошедшие два с половиной десятка лет здесь все столь разительно переменялось, что и глазу зацепиться не за что, не то его самые ранние воспоминания лгут, подменяясь другими картинками. Скорее, последнее.

Тихон огляделся. Сейчас ему следовало пройти до здания угро, а оттуда, представившись и сообщив о себе, связаться со штабом, но планы перепутал грузовик, медленно проезжавший мимо. За рулем полуторки сидел молоденький сержант в несвежей полевой форме, кого-то высматривавший в толпе. Изредка он библикал на зазевавшихся, собственно, этим и обратил на себя внимание. Керженец наперерез подбежал к машине, «ГАЗ» неожиданно прибавил скорость, так что старлею пришлось кричать водителю и стучать по борту. Только так его заметили.

Вихрастая голова в пропыленной пилотке обернулась и замерла, впившись в синий форменный френч с нарукавным знаком госбезопасности. Дверь чуть приоткрылась, голова дернулась.

– Товарищ сержант, вы в лагерь? – Тот молчал, глядя на подбежавшего недвижными васильковыми глазами. – Вы сейчас в расположение дивизии едете?

– Да... так точно, товарищ старший лейтенант!

– Подбросите до штаба? Мне необходимо встретиться с полковником Кононенко...

– Так точно, товарищ старший лейтенант! – голова скрылась. – Михей, быстро наверх!

Сапоги затопали, кресло скрипнуло. Солдат, попутчик водителя, ловко перепрыгнул на борт полуторки. Кажется, он там оказался не один, недовольный шепот донесся до уха Керженца. Он сжал губы, но ничего не сказал: похоже, возвращались уходившие на день в самоволку солдаты. Для шестой армии, для любой армии, расквартированной вдоль западной границы, это почти нормальное явление. Особенно в последние годы. Он только спросил, подберет ли сержант еще кого.

– Никак нет, товарищ...

– Тогда едем.

Полуторка добралась до расквартированной вблизи райцентра дивизии меньше, чем за полчаса. Бетонка скоро перешла в грунтовую дорогу, изувеченную тракторами и тяжелыми грузовиками, превращенную в колею, из которой выбраться легковушке, верно, и не под силу. Наверное, начштаба полковник Кононенко ездил на каком-то легковом вездеходе, вроде ГАЗ-61. У начальника Киевского особого военного круга Керженец недавно видел такое поворотливое чудо.

Солнце снова проглянуло среди скопищ облаков. По дороге до райцентра собирался дождь, но когда старший лейтенант прибыл, заметно распогодилось. Вот только температура никак не поднималась, застряв в районе двадцати. Прохладный северный ветер заставлял зябко ежиться даже в плотном суконном френче. Надо было поддеть рубашку потеплее. Жаль, с собой не взял. Начало лета выдалось прохладным. Он уже десять дней объезжает штабы частей шестой армии, успел простудиться и вроде как поправиться. Хотя прогноз обещал уже на эти выходные жару до тридцати. Да только кто верит синоптикам.

За все время, пока они добирались до части, сержант не проронил ни слова. Ехавшие бортом солдаты тоже. Сержант ссадил их на караулке. Полуторка, немного подождав для приличия на въезде, резво рванула к зданию штаба.

Командование размещалось в старой усадьбе, экспроприированной у польских помещиков два года назад. Судя по гербу, знатные дворяне из рода Радзивиллов, их герб, по-прежнему невредимый, изящной лепниной украшал фронтон усадьбы. Керженец, еще будучи в Польше, занимался изучением гербов и символов родов, чтоб не спутать одного пана с другим во время допросов. Под гербом располагалась жестяная красная звезда, блестящая в редких лучах солнца. Казармы занимали соседние строения и пристройки. Станный вид, как будто ничего не переменялось с приходом советской власти. Вот только крестьяне теперь в униформе и частью вооруженные.

Полуторка остановилась подле парадного входа, мраморная лестница вела в большой двухэтажный холл, разгороженный фанерными стенками на множество комнатушек. Где-то вдалеке работало радио, постукивал телеграф, шуршали женские голоса. Пахло терпким табаком, верно, самосадам.

Оглядевшись, Керженец подошел к майору, только закончившему телефонный разговор с райцентром и, развернувшись, замершему перед старлеем из НКВД.

– Простите?..

– Товарищ майор, мне необходимо увидеть начдива Кононенко по делу исключительной важности. Я приехал из Львова по распоряжению товарища наркома. – Кажется, его собеседник немного побледнел. Впрочем, виду не подал. Покачал головой.

– Не могу сейчас помочь, товарищ старший лейтенант, – ровно ответил майор. – Товарищ полковник в отъезде, вернется поздно. Вы можете...

– Я подожду его, если он точно вернется сегодня.

– Да, вернется, только...

– Тогда подожду.

Керженец сопроводили к ординарцу комдива, который долго, но безуспешно уговаривал прибывшего не дожидаться Кононенко, а прибыть в распоряжение штаба завтра утром. У особиста зародилось подозрение, что сейчас полковник не в лучшем состоянии, попросту – пьян. Обстановка в приграничных частях нервная, неудивительно, если это действительно так.

Переубедить старшего лейтенанта не удалось, Керженец демонстративно вошел в кабинет и сел в кресло, дожидаться полковника. Огляделся. Обстановка в кабинете спартанская, портрет Сталина над жестким резным креслом, под ним боевое знамя и несгораемый шкаф. Рядом шкаф книжный, забитый папками, у противоположной стены диван – и все.

Керженец походил по комнате и снова сел в кресло. Ждал долго, очень долго. Начав прибывать около восьми, в приемной был остановлен ординарцем и – лейтенант слушал шепоты – в деталях осведомлен о поджидающем особисте.

Кононенко вошел, как-то ввалился в кабинет. Усталое лицо, мешки под глазами, запах дешевого табака. Нет, не пил, значит, действительно измотали делами. Лейтенант подобрался, вскакивая.

– Товарищ полковник...

– Просто комдив, – Кононенко недовольно оглядел поджидавшего. – Садиться не советую, лейтенант, костюм испортишь. У нас, знаете ли, очень просто, мебель пыльная, наследство буржуазного прошлого. А твои брюки, френч, они ж дорогого хлопка, американского, наверное.

Керженец немного растерялся. Но через пару секунд перетянул с бока планшет, открыл.

– У меня поручения товарища наркома внутренних дел. Ознакомиться с приказом лично и действовать в согласии с ним.

Полковник быстро глянул на лист бумаги, украшенный росчерком Берии. И тут же отложил, выдохнув:

– Я думал это по мою душу. В тридцать восьмом тоже приходили, знакомили, потом в сороковом. И сейчас вот... Смотрю, приказ по погранвойскам, я-то какое отношение имею?

– Товарищ комдив, вы три недели назад отвели свои части от границы. Между вами и погранвойсками НКВД образовалась брешь почти в десять километров глубины. Лаврентий Павлович настоятельно просит – просит, подчеркиваю – всех командармов, комдивов, комбригов вечером в эту субботу развернуть части в соответствии с планом...

– Ума лишился, лейтенант? У меня приказ наркома обороны, что ж ты из меня изменника делаешь?

– В ночь с двадцать первого на двадцать второе немецкие части начнут военные действия против СССР. Это достоверная информация, получена из надежных источников и не подлежит...

– Прошлый раз вторжение Германии вы намечали на пятнадцатое мая, я прав? Тоже шум был, тоже приказы. Ваш нарком тоже суетился, только тогда «воздухом» сообщения слал, а сейчас вот посланника отправил. А нет, еще нарком госбезопасности тоже предупреждал. И что? Кончилось войной в Греции и...

– Не кончилось, – осмелился перебить Керженец, – только начинается. План вторжения никуда не делся, лишь дата изменилась.

– Я в курсе этого плана, ваша и НКГБ разведка все уши прожужжали. Хотя воевать на два фронта – с нами и с Англией...

– Товарищ комдив, не будет войны с Англией. По крайней мере, пока. В ночь на двадцать второе Гитлер нападет на нас, вы же в курсе того, что происходит от вас всего в двадцати километрах.

– Да, в курсе. Там находятся части Первой танковой группы вермахта, группы армий «Юг». И что?

– Вам известно, что они начали разминирование собственных полей и снос укреплений вдоль дорог?

Кононенко передернул плечами. Уселся потверже в кресле.

– Я об этом тоже слышал. А еще о том, что в совокупности против нас выставлено даже меньше войск, чем сейчас находится на «Линии Молотова». Это я не говорю про Второй эшелон обороны, сведений о котором никто не скрывает и про который любой немец наслышан. Вы понимаете, что при такой расстановке сил переть на рожон все равно что... ну, что переть на рожон. Бои закончатся здесь, немецкие части будут отброшены назад и сражения плавно переместятся в саму Германию.

– Вы так уверены? Наши войска...

– Лейтенант, это *наши* корпуса и дивизии, не забывай, – с ударением произнес полковник. – Ваши части находятся в глубоком тылу.

– Вы забыли пограничников, которые первыми примут удар и костями полягут. Они со вчерашнего дня приведены в состояние полной боеготовности и заняли оборонительные позиции вдоль всей границы соприкосновения. Именно поэтому товарищ Берия просит...

– А товарищ Тимошенко приказывает. И я подчиняюсь Семену Константиновичу, а не моему Лаврентий Палычу, слава богу.

– Мы с вами оба подчиняемся наркому обороны. Вооруженные силы.

– Ну да, ну да. Есть вооруженные силы, а есть и другие. Которые приходят к армейским и сажают их в «воронок».

Кононенко пристально глянул на стоявшего перед ним старшего лейтенанта. Керженец выдержал взгляд. Полковник шумно выдохнул, достал из шкатулки на столе пачку «Казбека» и предложил папиросу особисту. Тот головой покачал.

– Извините, не курю.

– Что же. Бывает. – Майор прибавил, затянувшись: – Ну хорошо, лейтенант, допустим, я поверю тебе, а не Геббельсу, по чьему приказу в вермахте раздают английские разговорники и карты юга Британии с зонами высадки. Допустим, выдвину войска и расположу их в соответствии с планом. Займу двенадцать километров в ширину и двадцать в глубину. Если время останется, то еще и настучу сам на себя. Что дальше?

Керженец вздохнул с некоторым облегчением.

– Операция будет проходить втайне, о ней ни нарком, ни генштаб КОВО не узнают.

– Вот как? Уже интересно.

– Вы спасете много жизней, товарищ полковник.

– Комдив, – еще раз поправил Кононенко. – Погублю свою и почти всех штабных. Но спасу... ладно.

– Даже если вы не сможете остановить удар Первой танковой, то сильно осложните ей продвижение. К этому времени, будет развернут наш Второй эшелон. Возможно, через неделю он сумеет подойти к «Линии Сталина», к старой границе с Польшей.

– Я еще помню, что это, лейтенант. Но продержаться самостоятельно против армии...

– Основное направление удара это Ковель и Львов. Вы оказываетесь между клиньями Первой танковой и Шестой и Семнадцатой армиями вермахта. От того, что попытается войти

непосредственно сюда, в райцентр, вы сможете отбиваться хотя бы и отступая – до подхода армий Второго эшелона. После этого, может быть, вы сможете остановить продвижение.

Кононенко постучал пальцами по столешнице.

– Сейчас ты мне пересказываешь сюжет песни о наступательной обороне, которую пять минут назад пел я. Только забыл про переход в наступление объединенными силами нашей Шестой, соседних Двенадцатой и Пятой армий. И за месяц до Берлина.

– Простите, товарищ комдив, это не та война, – едва слышно произнес Керженец. – Та война закончилась Выборгом. Думаю, если б не она, Гитлер не решился бы напасть...

Кононенко хмыкнул, пыхнул папиросой и, прищурившись, поинтересовался:

– Так ты участвовал в Финской кампании?

– Нет, товарищ комдив, но хорошо слышал. Я участвовал в Польском походе. Знаю, и вы тоже, – полковник будто не расслышал последней фразы.

– И что ты там делал, лейтенант?

– Работал на четвертое отделение. Фильтровал пленных, – Кононенко неприятно улыбнулся.

– Ну да. Что же еще. Так вот, лейтенант, теперь слушай меня. И смотри, – он вынул из стола лист писчей бумаги, протянул стоявшему. Керженец взгляделся в полуслепые печатные буквы «ундервуда». Недоуменно поднял голову.

– У вас только девять тысяч состава? А остальные?

– Не знаю, что тебе сказал Лаврентий Палыч, но мы воюем, чем можем. Еще пять тысяч я должен домобилизовать с местных в первые же дни. Если вторжение случится сейчас. А не в сорок втором, как все надеются. Как и я тоже. Вот тебе еще листы, читай дальше. Странно, что твой наркомат столь хорошо знает о враге, но ничего не слыхивал о своей армии, – он неожиданно зло усмехнулся и буркнул вслед: – Чистить горазды, вот и вычистили всех, кто знал.

– Я в курсе армейских проблем, товарищ комдив. Читал рапорта об уклонистах, дезертирах, контрреволюционном элементе...

– Да? А ты слышал, что случилось во время прошлогоднего призыва? Здесь, в райцентре. Один из прибывших для освидетельствования застрелил военкома из нагана, а после началась схватка с милицией. Четырнадцать убитых. Изъято полсотни единиц оружия. Ты думаешь, я хоть кого-то из них смогу мобилизовать?

Керженец некоторое время молчал, глядя на полковника. Тот не отводил взор. Наконец, лейтенант сдался, пододвинув бумаги, принялся пролистывать их. Комдив долго следил за его действиями, наконец, не выдержал сам.

– Так что мне прикажешь делать, лейтенант? Выдвигаться? Ты ведь все внимательно прочел.

– Я читал подобные донесения не только из шестой армии.

– И ничего в голове не шлохнулось? – зло спросил Кононенко. Особист передернул плечами.

– Признаюсь, не представлял, что все настолько скверно. Вы уверены, что только половина артиллерии в боевом...

– Нет, не уверен! – полковник подскочил, кресло жалобно скрипнуло, отскакивая к стене. – Не уверен, что даже половина. У нас одни сорокапятки на ходу, остальные пушки это развалины. У соседей в механизированном корпусе еще хуже. От силы треть танков способны стрелять и двигаться. Не хватает горючего, нет боеприпасов, нет обученных командиров. Всего не хватает. Да мы молиться должны, каждый день в церковь райцентра ездить и свечки деве Марии ставить, или мессу заказывать, чтоб только война не началась, – и, выйдя из-за стола: – Я тебе больше скажу, лейтенант. Между мной и соседним мехкорпусом тридцать километров пустого пространства. Даже если я в нарушении учебников, растяну

фронт километров на двадцать, все одно будет прореха. Неужели ты думаешь, пограничники смогут эту дыру заткнуть? Или вообще хоть как-то помогут. Твой нарком послал их на убой, заставив залечь у границы.

– Вы думаете, сможете отбиться тут?

Кононенко медленно осел в кресло. Вытер разом вспотевший лоб платком.

– Ничего не думаю, – глухо произнес он. – Вот в сороковом думал. Так меня в Киев, к начальству, разнос и два дня еще просидел у такого же... вроде тебя. Тоже старлея, кстати. Ну да, хотя у вас звания на два порядка выше, чем в вооруженных силах. А у меня ниже, ну что это – полковник и командует дивизией, – он усмехнулся. – Не выпендрись тогда, получил бы сейчас генерала. Наверное. Я ведь самый старый в шестой армии. Сорок девять лет. Вы ведь всех вычистили, как начали с Тухачевского, так и до сих пор не угомонитесь. Я как шаги за спиной услышу, боюсь оглянуться, ведь точно так же сзади подходили, брали за плечо и просили следовать. Дважды. А вот теперь ваши гаврики впереди, а мы вроде как их прикрываем... Знаешь, лейтенант, это даже забавно, – после недолгой паузы произнес он. И снова недобро усмехнулся.

Керженец ничего не ответил, только положил листы машинописи на стол. Снова поглядел на полковника, но тот пыхтел папиросой, не отрывая взгляда от стоявшей на столе зажигалки.

– Я понимаю, вы решения не измените, – наконец, произнес особист.

– Ты многих слушал, – отвечал Кононенко. – Ко многим ездил с одним и тем же. И что, кто-то посмел согласиться? – Керженец покачал головой. – Вот именно. Я жду распоряжения наркома обороны. Все ждут. И надеются, что если мы отведем войска, если не будем вступать в стычки, отвечать на обстрелы, не отгоним самолеты, вторгшиеся в пределы родины, то пронесет. Он, – кивок на портрет за спиной, – верно, тоже надеется.

Оба замолчали на несколько секунд. Затем особист положил на стол листы с результатами последних майских стрельб. Полковник двинул в его сторону «воздух» за подписью Бери. Но собеседник покачал головой.

– Пусть останется.

– Нам этого не надо, забирай. Шестая армия кончилась, дальше уже Пятая идет, ты теперь туда?

– Нет. Обратно в Киев.

– Докладывать? – прищурился он.

– Не успею. Выезд двадцать третьего.

Обратно его доставили, в самом деле, на ГАЗ-61 из гаража полковника. Машину вел усталый ординарец, попыхивая на старлея дешевой махрой с запахом подгнивших тряпок. Керженец попросил высадить его возле гостиницы, вот только ординарец не понял и приказал легковушку к другой, очевидно, для высоких чинов предназначенной. Название «Дрогобыч», в честь столицы прежнего воеводства и нынешней области, не переменялось. Странно только, что город, именем которого названа гостиница, находится так далеко от Волыни. Он там бывал когда-то, очень давно – почти два года назад. Неожиданно, лейтенанту показалось знакомым и название, да и сам вид здания. А может, он попросту устал. Солнце уже закатывалось за лес, небеса вдруг прояснились, но облака, окутывавшие светило, сияли красным, знаменуя ветреный день и перемену погоды. Хотелось надеяться, что завтра потеплеет.

Он обошел гостиницу и, спросив дорогу, двинулся в сторону парка. Шел не спеша, а потом и вовсе остановился. Глянул на часы, без четверти десять. На улице еще светло, солнце, только недавно сев за лес, еще оставляло после себя быстро темнеющий запад. Рваные облака быстро истлевали в лучах заходящего светила. Старлей, оглядевшись окрест, присел на лавочку. Мимо пробежал мальчуган, кативший перед собой обруч, за ним еще

один. Кого-то, может быть, именно его, позвали домой, быстро ложиться спать. Совсем как когда-то...

Он вздрогнул. Все вокруг вдруг показалось ему нереальным, невозможным, – и заходящее солнце, и постепенно пустеющий парк, вот эти дети, бегающие за обручем, доигрывающие в классики и резинку, разбегающиеся по домам, родители, снимающие с веревок просохшее белье, бабушки на соседней скамеечке, беседующие на местном диалекте, настолько далеко от украинского, что Керженец понимал их едва не через слово. Будто картинка из далекого детства, его или чьего-то другого. Такого не может быть, здесь, сейчас, когда всего в тридцати километрах отсюда рычат моторами подходящие части, танки и самоходные орудия выбирают позиции, готовятся к проверке и перепроверке мощные гаубицы, а еще дальше, в сотне километров, за лесами, за полями, на аэродромах проходят предполетную подготовку тысячи самолетов. Их брюхи набиты бомбами, в их пулеметы заправлены ленты патронов, их летчики сейчас там, где-то далеко, пьют кофе и, верно, рассуждают о клонящемся к горизонту светице, рассказывают о перемене погоды, читают сводки, да, завтрашний день обещает быть теплым, ясным. А значит, и послезавтрашняя ночь...

Как иллюзия, как сумасшествие. Невозможно совместить вот эти играющих детей и пилотов, готовящихся обрушить на них сотни тонн тротила. Если бы только он действительно сошел с ума, рехнулся, в полной уверенности в невозможности соприкосновения двух миров, вот этого и того, что за лесом. Будто граница проходит не по земле, а как-то сквозь нее, достигая и небес, и самого ядра планеты. И ничто в мире не нарушит ни сегодняшней, ни завтрашней сон вот этих детей и их родителей, которым в субботу осталось всего ничего поработать, как максимум, до четырех, а затем приятный вечер и долгожданный выходной после непростой трудовой недели, от которой все устали и только ждут ее завершения.

Вдруг он вспомнил Финскую кампанию. Кажется, все происходило так же, или почти так. Он сидел в Киеве, разбирался в архивах, проверял бумаги, перекладывал из лотка входящих в лоток исходящих, а вечером шел читать газеты, купленные по дороге на работу. На третьей-четвертой полосе рассказывалось о боевых действиях – где-то очень далеко, в другом мире, на севере страны, за чертой, за незримой, но и нерушимой границей, шли ожесточенные, отчаянные сражения за каждый клочок земли. Авиация, дальнобойная артиллерия утюжили линию Маннергейма, потом вперед шли танки, неуверенно, постоянно застревая среди осколков бетонных глыб и искореженных «ежей», за ними двигалась пехота, пытаясь продвинуться вперед хоть на метр, вгрызаясь в каждый холм, цепляясь за каждый пенек обезглавленного дерева, под шквальным огнем неприятеля, которого, казалось, сам черт не может выбить с этой линии, выкурить из перекрытых щелей, дотов и дзотов. Там, на севере, стояли лютые сорокаградусные морозы, керосин в баках застывал, винтовки отказывались стрелять, бойцы шли в рукопашную, гранатами прокладывая себе дорогу к противнику, отбирали у него оружие понадежнее и воевали дальше уже им...

А в Киев из Москвы и Ленинграда шли копии донесений о потерях, о продвижениях, об отступлениях и контратаках. О потерях старались молчать, как вообще о боевых действиях на Карельском перешейке. Только о взятии городов и сел изредка сообщали газеты. Будто и есть эта война, и нет ее. Будто гибнут в ней тысячи ежедневно, а сухая статистика даже не хочет посчитать, объединить цифири в одно, слишком уж большое число общей беды, происходившей в праздники и будни, совершенно незамеченной обществом. Действительно, за гранью реальности. В снах безумца.

И точно такие же сны видит он сейчас, за (Керженец снова глянул на командирский «Полет») двадцать шесть, может, двадцать восемь часов до кошмара. Он не знал точного времени нападения, мог лишь предполагать, исходя из прежних войн, прежних нападений – на ту же Польшу, Голландию, Бельгию, Францию, Грецию...

Он помотал головой. Вздыхнул и выдохнул. Не хочет совмещаться, упрямо не хочет. Наверное, у наркома тоже, ведь недаром Лаврентий Павлович наказал ему отправляться назад в понедельник. Через сутки после предполагаемого начала войны. Никто не хотел верить. И он не исключение.

– Тихон?

Керженец испуганно поднялся, огляделся.

– Тихон, как ты здесь оказался?

– Галина?

К нему из сгущавшихся сумерек подходила девушка, его ровесница, – нет, на два года старше, подсказала упрямая память, – волосы заплетены в тугую косу, обручем уложены на голову, светло-зеленое ситцевое платье и наброшенная на плечи кофта. Он вздрогнул и поежился. Действительно сон, иллюзия. Поднялся навстречу, все еще не смея поверить увиденному.

– Галя, как ты здесь, почему?

Подойдя, она взяла его за руку, коснулась плеча.

– Не верится, что ты тоже приехал.

– Нет, я в командировку, я... – он сбился, дыхание перехватило от одного только ее прикосновения. Будто и не было разлуки, ничего не было, и сейчас они по-прежнему в Житомире, в теплом октябре тридцать девятого, он снова уезжает «в Киев на пару недель», а она провожает до перрона. Целует на прощание в щеку и, быстрым движением смазывая след помады, выходит из вагона. – Ты-то как здесь?

– Я тут работаю. Уже год как. В чулочной артели. Я писала тебе, ты разве не получал письма? – и, помолчав, прибавила: – Вижу, что нет.

Он смутился.

– Наверное, почта... прости. Я действительно пропал в Киеве, не предупредил и...

– Так ты за этим здесь? – она улыбнулась. А вот Тихон враз вспомнил. И вздрогнув, резко схватил ее за руки.

– Тебе надо уехать. Завтра же. Ты... ты далеко отсюда живешь? Надо либо в Житомир, либо в Ровно, а оттуда в Киев, Харьков, подальше.

– Да что с тобой? Осторожнее, ты делаешь мне больно.

– Прости. И предупредить твоих. У тебя кто-то есть?

– Тихон, ну ты, действительно странный, в самом деле. Здесь только двоюродная тетка, я у нее живу, ну не койку же снимать инженеру-технологу с зарплатой в четыреста рублей, – он замолчал, разглядывая ее лицо, ни на йоту, как казалось не переменившееся за время их разлуки. И не слыша, продолжал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.